

ВРЕМЯ ИМБИ 23 1977



В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ПРОЗА ЗИНОВИЯ ЗИНИКА ● АРТУР КЕСТ-
ЛЕР "ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР" ●
ВИКТОР НЕКИПЕЛОВ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
ТЮРЬМА В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ" ● НАШ ВЕР-
НИСАЖ "ДРЕВО ЖИЗНИ"

Эрнст Неизвестный Кентавр



ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Третий год издания

Выходит один раз в месяц

23
1977

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"

1977

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	МИХАИЛ ЛЕДЕР
ГЕОРГИЙ БЕН	БОРИС ОРЛОВ (зам. гл.редактора)
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	НАТАЛИЯ РУБИНШТЕЙН
ЕГОША А. ГИЛЬБОА	ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ИОСЕФ ТЕКОА
МИХАИЛ КАЛИК	ААРОН ЯРИВ
ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН	

Представители журнала:

Англия	Александр Штротас Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.
Западный Берлин	Лотар Ролл Buschkrugallee 98, 1000 Berlin 47, t. 606-77-61
Канада	Юрий Лурье 305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2 t. (204) 474-9773
США	Эдуард Штейн 7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 t. (203) 387Ю5-97 USA
Франция	Ричард Кернер 24, rue Lecluse, 75017 Paris 17e, t. 292-12-61
ФРГ	Арий Вернер Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА	
Зиновий ЗИНИК	
"Перемещенное лицо"	5
Андрей АРЬЕВ	
"Долгота дня"	91
ПОЭЗИЯ	
Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ	
"Долгое прощанье"	125
Олег ОХАПКИН	
"Современные стихи"	128
ПУБЛИЦИСТИКА, ФИЛОСОФИЯ, КРИТИКА	
Артур КЕСТЛЕР	
"Политические невроты"	132
Борис СУВАРИН	
"Солженицын и Ленин"	152
ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО	
Виктор НЕКИПЕЛОВ	
"Институт дураков"	167
ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"	
"Древо жизни"	206
ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ	
"Спасите наши души"	212
Коротко об авторах	219

Зиновий ЗИНИК

ПЕРЕМЕЩЕННОЕ ЛИЦО

Окончание. Начало см. в
22 номере журнала.



7

"Куда ты дел мою советскую выездную визу?" спрашивал Тамаев, стоя перед котом Собачиным на коленях и заглядывая ему в глаза. Собачин, сидя в кресле на колесиках, поводил ухом и неодобрительно отворачивался. Это было в последнюю ночь перед отъездом, когда Четвергам пришел на улицу Таити с чемоданом, набитым папками и тесемочками. Тамаев же, как всегда в состоянии панической решительности, складывал чемоданы. Точнее один-единственный гигантский чемодан на колесиках. Он возил его из угла в угол, набивая его подряд всем тем, что попадалось под руку. Попадались, главным образом, книги и мемуары про Сталина и Гитлера. Про однойцевость и шестипальность. В какой-то момент обнаружилось, что потерялась советская выездная виза, розовая бумажка с фотографией, удостоверявшая, что и Тамаев был в свое время советским гражданином.

"Ты понимаешь, что без этой подтирки меня в Америку могут не пустить?" спрашивал Тамаев кота. Но тот молчал и желтыми глазами оглядывал круглый живот Тамаева, нависающего над синими советскими трусами, на его вспотев-

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

шую лысину, и волосы, подобранные назад и перетянутые аптечной резинкой так, что Тамаев становился похожим на растолстевшего китайца с косичкой. Тамаев снова выгребал из чемодана сталинскую шестипальность и гитлеровскую однойцевость (или наоборот?), надеясь, что розовая бумажка окажется между ними. Но на дне чемодана оказывалась зубная щетка и пара нестираных носков. "Он специально засунул визу куда подальше, потому что не хочет, чтобы я уезжал в Америку", сделал грустный вывод Тамаев, и кот прыгнул ему на грудь и лизнул его в лицо, потом устроился у него на груди и, подставив ухо, замурлыкал.

"Он хочет, чтобы всем было так же плохо, как и ему", говорил Четверган, выкладывая папки с тесемочками из чемодана. "Он считает, что если ему плохо, то плохо должно быть и всей вселенной. Он за справедливость. А когда он видит, что все идет своим ходом, независимо от него, он начинает все портить и везде пачкать. Сейчас он украл у тебя визу, завтра перегрызет все твои книги. Он это делает для того, чтобы доказать, что разрушением кончается всякая деятельность живого существа: от еды остается дерьмо, от сна грязные простыни, и вообще от человека червивый труп. Или же это бунт против того, что случилось. Он не может смириться с тем, что он не в Москве. Он не может смириться с тем, что вот вместо снега песок, а все идет так, как будто ничего не случилось. Он отказывается заниматься только утверждением из существующего".

"О ком ты говоришь?" занервничал Тамаев, сидя на чемодане с колесиками, как на детской доске-качалке.

"О тебе. Или о Собачине. Вы ведь два сапога пара: вам обоим не сидится на месте. Только у тебя есть возможность купить билет в Америку, а у него нет. Но вам обоим претит состояние, когда дальше ехать некуда".

"Да, наша нация живет сама по себе и гуляет, где захочет по крышам. По крышам человечества, я имею в виду. Конечно, мы можем поселиться в квартире. Но нам, как и котам, эта квартира всегда будет казаться чужой. А мы будем чужды этой квартире. Мы как пассажиры поезда: как только кто-то из нас сходил на станции, он исчезал как пассажир,

он переставал быть пассажиром. Если ты хочешь оставаться пассажиром вечно, ты не должен сходить с поезда, надеясь всегда только на машиниста. Я верю в переселение душ", сказал Тамаев и, сбросив кота, стал расхаживать по комнате. "Не съест ли нам чего?" Когда он был возбужден, у него всегда пробуждался аппетит.

"Я замечаю пока только переселение тел из одной страны в другую. А душа при этом теряется в багажном вагоне. Или в чемодане, украденном на таможне".

"Тебе хорошо о душе говорить. Тебе кроме слов для почтовых открыток ничего и не надо. А мне нужно найти звезду".

"Какая езда, такая и звезда. Чем плоха вифлеемская?"

"Я имею в виду кинозвезду. На женскую роль. С мужскими ролями тут проблемы нет. Главного героя можно быстро устранить в начале фильма, вместе с началом очередной войны Судного дня. Или отправить его в Америку в эмиграцию. А что делать с женской ролью? Для великого фильма в наше время нужна заграничная звезда. А какая заграничная кинозвезда продаст свой талант за здешнюю лиру? Валюта ведь неконвертируема. Никто лирами не возьмет!" Тамаев расхаживал по кухне от холодильника к плите в сопровождении кота, выкладывая финансовые сметы, приравнивая лиры к таланту, таланты к туману, а туманы к конвертируемой валюте.

"Я, конечно, специалист исключительно по пятиконечным звездам, в отличие от тебя, который специалист по звездам шестиконечным, но зато мне известна одна кинозвезда, которая прославилась своим умением создавать шумиху вокруг своего имени. Она, к примеру, заночевала на каком-то дачном острове, ее там комары заели, а уже все газеты трубят заголовками о ее неожиданном исчезновении, мистическом побеге в неизвестность. А когда ее спросили, как она умудряется устраивать свою жизнь так, что о ней непрерывно говорит весь мир, она сказала: "Нет ничего проще. Надо лишь правильно отвечать на вопросы корреспондентов. Например, вчера меня спросили: кто написал "Преступление и наказание"? Я взяла и ответила: "Преступление и наказание" напи-

сал Наполеон. Или Мао-Дзе-дун. И газеты тут же раструбили мой безграмотный ответ. А если б я ответила правильно, то есть, что "Преступление и наказание" написал Солженицын — меня бы никто и слушать не стал". Вот о ней все и говорят. А ты будешь в Америке картошку сажать, а потом даже если на Марс улетишь, все равно об этом никто, кроме меня, не узнает, заметь. Потому что ты всегда за справедливость, правду и истину, а всех интересуется как раз наглая ложь и вопиющая несправедливость". Четверган глядел, как Тамаев, повозившись с дуршлагом у раковины, выставил на стол глобокую тарелку с равиолями. Они дрожали как живые, своим прозрачным тестом напоминая улиток, с которых стащили раковины. Потом он вытащил из холодильника бутылку со странной наклейкой: зубр на фоне семисвечника.

"А как ее зовут?" спросил Тамаев, разливая по рюмкам. "Кого?"

"Ну эту, знаменитую кинозвезду? О которой все говорят?"

"Я не помню, поскольку это ее забота и работа, чтоб я помнил ее имя. И поскольку это ее забота, я ее имени помнить не собираюсь. Хватит с меня других забот".

"Я думал, что ты намекаешь на Нину. Если бы здесь была Нина, я бы ее сделал кинозвездой, и не надо было искать звезду в Америке". Тамаев задержал дыхание перед глотком, потом проглотил, зажмурился, сощурился, и лицо его перекопилось, поехало, сместилось, сдвинулось, переместилось, и снова в обратном направлении двинулось и встало на место, но с некоторым сдвигом. Он зацепил вилкой равиолину на тарелке, понес ее ко рту, но равиолина слетела с вилки. Тамаев, несмотря на внешнюю неуклюжесть, ловко подпрыгнул со стула и подхватил ее на лету в самый момент приземления, и одним движением направил ее в рот. Собачин сидел в буддийской позе на третьем стуле и облизывался, вожделем равиоли. А может, и зубровку? Два дурака сидели втроем.

"Зубровка кашерная из настоящих рогов зубра Беловежской пуши кооператива "Агада шел песах" имени пророка Иеремии. Что за бред? Агада шел песах? Кто куда шел?" Четверган разглядывал наклейку на бутылке.

"Ради миллиона я б и не в такую агаду пошел" вздохнул Тамаев.

"Вот и неправда. За эту именно неправду я тебя и люблю. Тебе же ведь хочется именно звонкой жизни, а не звонкой монеты, тебе сейчас надо что-нибудь зажечь, что-нибудь раздробить, стать выше всего Иерусалима, пронестись громовой тучей, оставить всех в страхе и восхищении, а самому скрыться в Соединенные Штаты со своей звездой под звездным флагом. Ты мне напоминаешь моего дядюшку. Ты же знаешь, я у дядюшки воспитывался. И однажды, засыпая, я вдруг слышу за стеной, как дядюшка спорит со своими друзьями. Спор был довольно странный: проглотит ли дядюшка сразу сорок порошков для газировки. А дядюшка жутко любил газированную воду. В те годы еще продавались порошки для газировки: высыпашь в стакан с водой и размешивашь, получаются пузырьки. И вот дядюшка поспорил со своим другом, что может выпить зараз сорок порошков. Потом я слышал, как дядюшка прошел на кухню. Потом вернулся, тихо вдруг стало за стеной. И вдруг раздался взрыв. В доме напротив вылетели окна. Я вбежал вместе с тетужкой в комнату дяди. Там никого нет, а в потолке и в крыше огромная дыра. Мы жили на последнем этаже. Огромная черная дыра с ровными краями, и звезды светят. И друг тоже исчез. Конечно, друг был единственным свидетелем и, наверное, знал, куда делся дядюшка. Но он никому не рассказал, что дядюшка проглотил сорок порошков, а потом запил одним стаканом воды, и, конечно, взорвался. Или улетел за границу. Возможно, даже на Марс. И осталась только дыра в потолке. Но поскольку в доме давно ходили слухи о враждебных и чуждых взглядах дядюшки в отношении советской власти, и даже поговаривали, что у него есть родственники за границей, то друг решил разумно умолчать, поскольку на без оснований предполагал, что его могут посчитать за сообщника дядюшкиного побега. Он и решил смолчать. Ведь про газировку все равно никто не поверит. Когда я рассказал о споре, который я слышал через стену, тетка тоже не поверила и была уверена, что дядюшка бросил ее в Москве, а сам смылся за границу на летательном аппарате, который он от

нее скрывал. Тетушка всю жизнь продолжала верить, что дядюшка когда-нибудь раскается и вернется на родину, то есть к ней, к тетушке. Она продолжала штопать дядюшкины носки и, сидя по вечерам у лампы, напевала: "Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна". И слезы ее падали сквозь дырки носков, и она их, дырки, штопала. И поэтому я с детства единственный, кто знал правду, пытаясь попасть за границу, чтобы доказать, что дядюшки там нет и успокоить тетушку. Впрочем, эта программа потеряла свою актуальность, поскольку тетушка уже давно отбыла в марсианском направлении. А сейчас ты отбываешь в Америку. Делая вид, что у тебя особая киссия, то есть, прости, миссия. Когда на самом-то деле, все дело в газировке".

"Ты мне напомнил про советскую визу. Такая розовая бумажка. Я ведь помню, как работница министерства внутренних дел взяла у меня паспорт, а в обмен дала эту розовую бумажку. А потом взяла и порвала на четыре части мой советский паспорт. Я еще хотел крикнуть: что же вы делаете? А она порвала и в корзину выбросила". Собачин услышал про визу, прыгнул со стула и, виляя хвостом, удалился в коридор. "Я чувствую себя потерянной личностью", крикнул Тамаев вслед удаляющемуся коту.

"Для меня твой отъезд из Москвы важен совершенно из других соображений. Если ты помнишь, ты там оставил не только советский паспорт, ты оставил мне свое старинное кресло. Интересно, кто теперь на нем сидит? Я помню, как приехал с дачи к тебе на проводы, а потом нес это кресло с кем-то по улице, как будто невидимый кто-то сидел на кресле, а мы его несем. А сейчас ты уезжаешь в Америку и оставляешь мне кресло на колесиках. Меня занимает это совпадение. И ты похож на моего дядюшку. Меня занимают повторы и совпадения. Так что я, отчасти, даже заинтересован в твоём отъезде в Америку. Вокруг меня вообще заваривается какая-то каша из совпадений. Сегодня вечером я слышал голоса за стеной, которые говорили про меня".

"Если у меня мания бродяжничества, то у тебя здесь развивается мания преследования. Какие еще голоса?" Тамаев разлил снова, и они выпили, снова перемещая на сторону лица.

"Но мания преследования лучше чем мания бродяжничества. Потому что требует меньших затрат. Если бы у тебя была бы мания преследования, ты никуда бы не выходил из дома, не ездил бы на такси в поисках миллиона и тем самым сэкономил бы деньги на великий фильм. Кстати, в общежитии на Рабиновича проживает одна старушка-миллионерша: она всем рассказывает, что у нее в поясе зашит миллион на тот случай, чтоб знать, кого подозревать, если ее ограбят. Ты же должен был всем рассказывать, что у тебя нет миллиона, перед этим хорошенько застраховавшись, и тогда тебя бы заведомо ограбили, и ты бы получил страховку в миллион. Но ведь у вас нет терпения ждать, пока из слов произойдут события. Вы все время ищите второй выход, вы несетесь в Америку, вы ищите новое "там", чтобы сравнить его с прежним "там", и не понимаете, что надо дожидаться, когда новое "здесь" станет прежним. А для этого надо в аллеях городского сада пить молча кислое вино, не верить, что близка награда, и ждать того, что случится. И соглашаться, рядом сидя, и ласково в глаза смотреть: не для того, чтоб не обидеть, а для того, чтоб уцелеть".

"Ты до сих пор продолжаешь считать, что мы попали в кафе. А мы попали в государство, где нас прописали. И прописали к историческому процессу, к которому я, например, никогда не имел никакого отношения. Я сюда приехал к моему дедушке. Точнее, к его памяти. Я всю жизнь вспоминал моего дедушку: он был аптекарем, он приготавливал мне упоительные смеси из разных сиропов, и даже спирту туда подбавлял, и называл он эти напитки: микстум-пикстум-композитум. Он мне рассказывал разные притчи. Например, про портного, который украл одежду царского наследника, и думал, что будет царем, и царем он стал, но только одного он не знал: что этому наследнику, кроме царского престола, уготовлена смерть от собственного визиря. Когда надевают на себя чужую судьбу, забывают, что с этой судьбой связаны не только трон и скипетр. Дедушки моего здесь никто не помнит. А я не хочу, чтобы мою жизнь превращали в микстум-пикстум-композитум".

"Ну конечно: у тебя Иерусалим на небе, и поэтому тебе

нужна определенность судьбы на земле. Мой же Иерусалим здесь, на земле, и поэтому мне совершенно наплевать, кем я стану на небе, мне важно стать никем, исчезнуть, превратиться в микстум-пикстум-композитум. Потому что здесь все, что ни говорится, говорится всегда на мой счет, и я составляюсь из слов, которые говорят как будто не обо мне, а на самом деле про меня. Вот когда эти слова и голоса перестанут звучать, тогда и можно будет сказать, какая у меня получилась судьба. Я сегодня вечером, когда собирал свой архив, чтобы перенести его в твою квартиру, слышал голоса из водопроводного крана. Когда воды нет, через пустые трубы слышен разговор в другой комнате. Может быть, это и мания преследования, но у меня было такое чувство, что говорят они обо мне. Что меня пытаются разгадать, на самом деле сочиняя за меня мою судьбу. Я слышал мужской и женский голос, и говорили они друг с другом так, как я говорил бы с Ниной, если бы мы поменялись местами. И если вокруг постоянное эхо из реминисценций, рекрамаций и контаминаций, значит скоро что-то произойдет, значит надо просто ждать, когда из чужих слов сочинится твоя судьба".

"И тебе придется доказывать, что ты не осел".

"А в Америке тебе придется доказывать, что ты не кот Собачин. У Америки в этом смысле большая традиция: ее открыл Колумб, а названа она по имени Америго Веспуччи. Интересно, можно ли сделать из нее клей?"

"Что ты имеешь в виду? Кости американских граждан?"

"Я имею в виду эту зубровку. У меня в Копьевском переулке в свое время стояла бутылка-портвейна под названием "Солнцедар". Бутылка стояла на подоконнике около года и это такой портвейн оказался, что когда начал распдаться на ингредиенты, получился замечательный клей. Вот я и думаю, не получится ли то же самое из этой настойки на костях зубров Беловежской пуши. Кстати, откуда здесь оказалась Беловежская пуши?"

"Нету здесь никакой пуши. Все враки. Какая здесь может быть пуши, если здесь деревья сажают в камень, как в цветочный горшок. Выроют яму, засыпят землю и дерево втыка-

ют. Как могила. Для саженцев. Новые саженцы, новая нация. Небольшой ураганчик, и все деревья взлетят к небу, потому что корням не за что зацепиться. И тогда готовы свежие могилки для новоприбывших", Тамаев хихикнул и его лицо на секунду постарело и обозначились предательские складки у щек, по-стариковски вдруг обвисших. "Не то это место. И в голове у меня все время не то. У меня в голове другой Иерусалим был. И его из моей головы здесь упорно выбивают. Вывески эти на странном языке, все время голову наоборот вертеть, я этот язык и не узнаю никогда, лица не те, не такие, как у моего дедушки; и получается, что тот Иерусалим, который у меня в голове был, постепенно вытряхивается, выбивается, а этот новый я и знать не хочу. Не хочу!", и он стукнул рюмкой зубровки по столу. Кот вспрыгнул на стол и обнюхал рюмку. Потом сощуренно поглядел в глаза Тамаеву и мягко спрыгнул на пол.

"А кто тебя заставляет считать это место своим? Кто тебе обещал, что оно будет таким, каким оно было у тебя в голове? Зачем вам нужны постоянные материальные доказательства собственного идеализма?"

Тамаев вдруг перегнулся через стол так, что бутылка зубровки качнулась: "Ты вот пытался меня в Москве этому языку обучать. Мене, текел, фарес, и все такое. Неужели ты не чувствуешь, что здесь другой язык? Не тот, которому ты меня обучал. Не тот язык. Лица не те. Похоже все, жутко похоже, но не то. Я тебе скажу: у меня иногда подозрение", он приблизил лицо совсем близко к лицу Четвергана, и тот увидел, как в тамаевских глазах зажегся желтый кошачий огонек, "у меня иногда возникает подозрение, что тут всех подменили. Подменили, ты понимаешь, что я имею в виду?" Он откинулся на спинку стула и положил ладони перед собой, как на суде, и поглядел победно и устрашающе. "Всемирный заговор или марсианское нашествие, понимаешь? Мне это не сразу в голову пришло. Но потом я обратил внимание, что как-то слишком они похожи на то, что я уже когда-то знал. Как будто специально. Картавят, каждый третий по-русски понимает, слишком похоже, чтобы быть истинным, это твое выражение. Понимаешь? Подменили! То есть вначале такие

и были, а потом невидимый газ, однажды ночью, в наше время и не такое делают с целыми континентами, да, так вот в одно прекрасное утро вместо целого народа сплошные агенты марсианской цивилизации! Или просто советские, из-за железного занавеса, просочились постепенно, и теперь комар носа не подточит. А? Каково? А репатрианты все прибывают, прибывают, их здесь быстро пристраивают, куда надо. Ты заметил, здесь в воздухе периодически что-то носится? Говорят, хамсин. Слово придумали. Но известно, что раньше хамсины не налетали так часто. Это еще надо все проверить. Если моя гипотеза верна, становится понятным, почему мне не дают деньги на фильм. Потому что мой фильм будет разоблачающим. Если камерой снимать, то все выяснится, у меня глаз работает. Они нас переделать хотят. Ты еще не почувствовал. Но ты почувствуешь".

Рука Тамаева с вилкой, на которой зацеплена была равиолина, пророчески застыла в воздухе, и Четверган замороженно глядел, как кот, незаметно для Тамаева в бесшумном прыжке, сопровождаемом лишь звяканьем колокольчиков на ошейнике, слизнул равиолину с вилки, и когда Тамаев, наконец, ставя точку, засунул вилку с исчезнувшей равиолиной в рот, зубы со всей решительностью лягнули о металл.

"Собачин!" визгливо крикнул Тамаев, но кот уже был под столом и шмыгнул в коридор.

"Это занимательно. Нет, правда, это впечатляюще", сказал Четверган. "В сущности, отсюда один шаг до последнего и окончательного вывода: тебя тоже подменили. Тебя подменили, меня подменили: подсадная судьба. А тогда чего тебе беспокоиться? Тогда сиди и помалкивай. И если тебя подменили, никакая Америка тебе не поможет. Но тебе, чтобы с чистой совестью избавиться от прежней идеи и мотануть в Америку, почему-то надо доказать, что здесь марсианское нашествие, всемирный гипноз, и Гог и де Магог, и вообще конец света".

"Вот и нечестно это было с твоей стороны так говорить. Ты ведь бьешь по самым болезненным местам. Именно по тем местам, которые у тебя самого самые слабые, и поэтому ты так хорошо осведомлен, куда надо бить близкого

человека. Под его "я", которое и есть твое. Ты же сам нагроздил черт знает чего, чтобы уехать из Москвы, ведь так, ведь так? А сейчас громозишь еще одно нагромождение, чтобы остаться. А я здесь не останусь, потому что здесь возникает каждый раз дискуссия, почему я хочу уехать. Надо уезжать отовсюду, где возникает вопрос об отъезде. Тут все вооружились каждый своим Иерусалимом и глядят на каждого, кто этому оружию не присягает, как на предателя. А я жить хочу, а не присягать куче ржавых шпаг, которые нагроздили на моем пути и мешают мне пройти".

"Ничего я не нагроздил!" Четверган вдруг сдвинул зрачки, и его косоглазие моментально исчезло. "Моя жизнь это одна сплошная цитата, и чтобы отыскать источник этой цитаты, я и пустился в эти туры на колеса, и пока эту ссылку не отыщу, я никуда не сдвинусь. А когда отыщу, будет уже поздно двигаться. Я свою жизнь знаю наизусть. А вы идите, читайте новые книги, дедушек своих изучайте, судьбу свою ищите, сдавайте свою душу в багажное отделение, вылезайте из собственной шкуры".

И тут откуда-то изнутри тамаевского тела, из глубины его штанов раздался пронзительный звоночек. Звенел миниатюрный будильничек-часы, точнее, один из будильничков, рассованных по карманам, и каждый будильничек звенел в свой положенный ему срок так, что вся жизнь Тамаева была расписана от звонка до звонка. Звоночек был похож на крематорный, перед тем, как опускается гроб. Звени будильник, он твой светильник! Обожавший точность, он все время был в движении, и пустота состояния присутствия обнаруживалась коротким звонком, и собеседник вздрагивал: несмотря на суматошливость и неуклюжесть и большие размеры, Тамаев исчезал в атмосфере, и только звоночек возвращал его к самому себе, только для того, чтобы снова бежать и глядеть очередной фильм. В такие моменты его собственное присутствие было неожиданностью для него самого. Куда себя девать он никогда не знал, и разными хитроумными уловками терпел себя самого: гасил и снова зажигал свет, включал и выключал радио, открывал и закрывал жалюзи и, пытаясь обнаружить себя самого с помощью

другого, создавал такую напряженную атмосферу, как будто вот-вот должно что-то случиться. В этот момент и звенел очередной будильник, и можно было с облегчением нестись глядеть другое кино. Он сам превращался из человека в кинофильм. Для того, чтобы фильм существовал, лента должна непрерывно крутиться с одной катушки на другую. Из Москвы казалось, что отъезд в Иерусалим — это и есть кино. Но по приезде Иерусалим превратился в действительность. И поэтому надо было двигаться дальше: Америка, с точки зрения Иерусалима, и была на этот раз истинным кино. Из Америки надо было держать направление, видимо, на Марс. И оттуда снимать кино про шар земной. Юпитер будет выполнять роль прожектора. Цена на билет почему-то не учитывалась, хотя именно билет стоил тех самых лир, которые, как турецкие таланты, покрыты персидскими туманами. Ты спроси об этом у менялы.

"Бежим!" вскочил Тамаев с места при звоне будильничка. "Куда? в Америку?"

"Ночной сеанс в кинотеатре "Иерусалим". Это будет мой последний фильм, увиденный здесь".

"Для тебя здесь — это всегда фильм, который показывают там. Ты же для меня фильм, который показывают здесь. И этот фильм показывают в последний раз. И мне неохота с этого фильма уходить".

Тамаев сказал, что вот прошляпили кино, но Четверган возразил, что нет такой вещи на свете, которую можно прошляпить: сначала кажется, что вот опоздал, что уже все невозвратно унеслось, а потом выясняется, что можно было еще часок подремать, потому что хоть одна электричка и ушла, зато еще одна дополнительная стоит в расписании. Но недостаток кинотеатра "Иерусалим" состоял в том, что он был расположен слишком близко к улице Таити, чтобы ехать туда на транспорте, однако слишком далеко, чтобы, идя пешком, туда не опоздать. Но сколько он не уклонялся от компании, говоря, что с ним начинает происходить в жизни все то, что он прочел или увидел в кино, а он заинтересован как раз в обратном, он все-таки не хотел оставаться в этой атмосфере зубровки и кошачьих оскалов, и, сжавшись,

и, втянув голову в воротник старого московского пиджака, он вышел вслед за тамаевской спиной в черноту подъезда. Они задержались под столбами, подпирающими дом бетонными ходулями, и приготовились к шагу во тьму, окружавшую дом черной рекой; казалось, что дом тоже должен шагнуть на этих ходулях, и потом поплыть, как еще один ковчег, где каждой твари по паре. Четыре столба слева были отделены крашеной фанерной перегородкой, с невидимой прорезью дверцы, про которую можно было догадаться по белеющей в темноте квадратной размашистой надписи. Четверган вспомнил, что вот когда-то он в Москве так же стоял на Кузнецком мосту у магазина "Соки-воды", не решаясь прыгнуть под ливень и бежать к автобусной остановке, или переждать; и за спиной была витрина, с такой же размашистой надписью, какую любят намазывать маляры на стеклах, перед тем, как мазать стены; он помнил, что одним глазом, следя за ливнем с градинами, другим глазом машинально перечитывал надпись на стекле белой известью, которая как всегда снаружи читалась наоборот: т н о м е р — ремонт, и снова ленивый мозг переводил "тномер" в "ремонт" и обратно букву за буквой. Сейчас он провел глазами справа налево и машинально перевел в мозгу слева направо: "Ворота раскаяния". Можно, конечно, перевести как "Ворота возвращения", или "ответа", или "отклика". За фанерной перегородкой пожилое население дома незаконно устроило синагогу: столбы запрещалось отгораживать, но что же делать, если где-то поблизости помолиться? Каждую субботу из-за перегородки неслись нутряные субботние завывания, соревнуясь с муэдзином на холме в порабощении тишины, вопреки протестам соседних окон; но сейчас дверь казалась как будто забитой, и дотягивающаяся снаружи сетка тьмы пыталась слизнуть надпись "Ворота раскаяния". Или ответа, или отклика. Или преображения? Преображение будет, пожалуй, самый точный перевод. Прощай лазурь Преображенки, Нина, Нинон, Ниневия!

8

На дачу надо было уезжать, чтобы потом снова возвратиться в Москву. Надо было так далеко уехать, чтобы получить, наконец, признание в поражении. Но поражение от победы ты сам не должен отличать. Когда такое расстояние между поражением и победой, непонятно, то ли звучит эхо от удара литавр, то ли шум в ушах от удара по голове. Нам не дано предугадать, где наше слово отзовется. Раньше подсчитывались удары, теперь сопоставляется эхо от бывших затычин. И мотивы эти начались у кинотеатра "Россия" на Пушкинской площади:

"Вы его бросите — и сделаете большую ошибку. Но я почти наверняка знаю, что вы его бросите", сказал я тогда Нине. Она естественно вскинула подбородок:

"Но почему, с какой стати, такая уверенность?" и с ее стороны, со стороны ее метнувшихся глаз от неожиданно заостренного на ней разговора, это был не вопрос "почему?" а, скорее, реплика для продолжения разговора.

"Потому что", начал я и, поглядев как она по-четвергановски прищурившись, косит глазом, выпалил: "Потому что вы выучили все его ужимки, все его словечки, если не все его мысли, и он вам теперь только мешает: вам хочется оказаться одной на свете и раскрутить его в себе без его присутствия. Вам не терпится. Вы, можно сказать, заново родились, и вам не терпится начать жить самостоятельно".

"Может, это и верно, что у меня те же ужимки и те же словечки. Но ведь я не могу ничего сказать, прежде чем не представлю себе его на моем месте, и что бы он в этот момент сказал, и как бы посмотрел. И только тогда я могу произнести как будто за него отсутствующего".

"Вот именно, отсутствующего. Он уже вам стал мешать: вместо того, чтобы говорить за него вам, он говорит сам за себя. И как раз то, что вы прекрасно осознали технику этого передразнивания, это уже у вас не обезьянничанье и не попугайство, а другая инкарнация. Которая возможна только на том свете, где его нет. Вы уже больше, чем его отражение. Тень отделилась от хозяина. И ей нужно собственное зеркало, там, где человек уже не отражается".

С этого начался тот единственный откровенный разговор у меня, Тутова, с Ниной, которая там, и она до сих пор простить его мне не может. Она считает, что я его пересказал Четвергану, и именно из-за этого, то есть из-за меня, он уехал. Но сначала он ведь уехал с дачи. Об этом она забыла, или постаралась не вспоминать в этих письмах из Москвы. Но тогда она это слишком хорошо помнила. В тот день она вдруг позвонила мне и предложила пойти в кино: у нее два билета на фестиваль в кинотеатр "Россия". Я настолько не предполагал, что Нина может позвонить мне, что сначала долго не мог понять, что же это за ломающийся мальчишеский голос приглашает меня в кино. Но когда этот голос сказал, что шатается по городу и не может найти Четвергана, который вдруг неожиданно уехал с дачи, до меня дошло, что говорит Нина.

Встретившись у памятника Пушкину тупо просидели два часа в темном зале "России", делая вид, что смотрим фильм, который оказался детским, потому что не обратили внимание, что в "России" был в этот день детский кинофестиваль. Я чувствовал, что ей не по себе, и из-за внезапного отъезда Четвергана с дачи, и из-за того, что она затащила меня на детское кино, и из-за того, что она вообще позвонила именно мне. И поэтому, когда мы вышли наружу, я предложил выпить пива и с увлечением, сидя за белым столиком на ступеньках кинотеатра, рассуждал о значительности этого фильма, стараясь вообразить себе, что по этому поводу мог бы выдать Четверган. Это был фильм про двух мальчиков, они учились в одной школе. Один был героем класса, мечтал стать великим человеком и полководцем, великим борцом и атлетом. А его друг был просто скромный мальчик и наслаждался самой дружбой. И мысли не допускал, что девочка из соседнего класса, в которую он был влюблен, ходит с ним в кино, потому что влюблена в него: он был уверен, что она ходит с ним в кино потому, что хочет через него познакомиться с его знаменитым другом. А знаменитый друг, фантаст и неудачник, пока другие работали и ходили в кино, занимался фантазерством, в университет не поступил, украл чужую идею изобретения, его разоблачили, отовсюду повыгоняли,

а девочка вышла замуж вовсе не за него, а за его скромного друга. Но фантаст и неудачник все-таки был показан как благородная натура, когда, преодолевая собственное честолюбие во время прогулки, дал девочке и своему сопернику перочинный ножик, чтобы они смогли вырезать свои имена на коре березы. А ведь он мог этот перочинный ножик скрыть, тем более, что скромный друг был против порчи зеленых насаждений и лишь подчинился желанию девочки. А потом ночью фантаст и знаменитый неудачник катался по кровати и звал маму, потому что запутался в чугунных цепях, тренируясь на атлета. Мораль фильма состояла в том, что рано его еще осуждать, и рано над ним смеяться, и рано его жалеть: может, у него ничего не выйдет, а может, он сумеет еще всех обмануть. Он стремится подойти еще раз к огню, на котором обжегся.

"Он стремится уйти от себя самого: от того себя, который стал вами, или от вас, которая стала им. Он за неизбежность смены: за новые пути и новые изменения. Он хочет быть победителем вечного поражения, всадником без головы, оставленной в чужом краю, хромым бегуном на длинную дистанцию. Ну как еще сказать: он делает свои последние и решительные шаги не вперед к свободе, а в сторону, прыжок вбок от собственного прошлого, от страха раствориться в собственных отражениях. Он уходит от нас, как от самого себя, ему опостылевшего". Это я сейчас, наедине с собой так много и запутанно выражаюсь, а тогда, сидя на ступеньках "России", под тенью памятника Пушкину, повернувшегося к нам спиной, я говорил, неразборчиво мямля, выжимая из себя по капле, глядя даже не ей в глаза, а на ее четырехкратное отражение в четырехстворчатой буфетной стойке за ее спиной. Говорила подробно и запутанно как раз она, а не я, подталкивая и снова пододвигая носком резной туфли камешек, который приходился как раз на макушку тени Пушкина. В скверике невдалеке слышалась считалка: девочки играли в прыгалку, вертя веревку. Их голоса казались такими же далекими тогда, как сейчас мне кажется далеким эхом наши с ней голоса.

"Эти все пигмалионо-галатеевские рассуждения хороши

только со стороны" сказала тогда Нина. "А на самом деле все происходит гораздо менее трагично и гораздо более безысходно. Он просто перестал со мной разговаривать так, как это было прежде. Сейчас он стал меня учить: не делай того, езжай туда, слушай сюда. И я его раздражаю, как всякая невнимательная ученица раздражает учителя математики. Он все время меня одергивает. Я ему боюсь пожаловаться на разбитое колено, боюсь попросить у него самой элементарной помощи, боюсь намекнуть ему на его малейший недостаток. Боюсь позвонить ему в Копьевский переулок, когда он вдруг срывается с кресла и уезжает с дачи".

"Конечно. Этому чайнику надо дать перекипеть. Чтобы вышли все дубильные вещества. Дать ему дойти до тупика, вы же сами тогда сказали, той ночью, когда мы столкнулись у него в комнате в Копьевском переулке. Он был тогда в таком же состоянии, только в обратную сторону. Он же мне тогда сам показал открытку Тамаеву в Иерусалим: "нечего в дырявых брюках таскаться по границам и рожать в муках провинциальные цивилизации, и что дядя без племянников — не дядя". Тот же тон нетерпимости к жалобам и просьбам о близости. Когда он в таком состоянии, при нем никогда нельзя жаловаться, никогда не искать сочувствия. Потому что он в таком состоянии, когда каждое напоминание об отрицательных явлениях совместной действительности вызывает только один резкий ответ: "Как будто я сам этого не вижу". Но он не видит. Так как он сам в самоубийственном состоянии, он требует того же и от других, чтобы говорили об этом как бы между прочим, как о чайном припасе, с оживленной настойчивостью, но и с готовностью в любой момент сменить тему, как будто ничего не происходит. Он в такие периоды считает, что у него настолько все плохо, что он имеет право раздражаться при слухах о чужом несчастье. Безусловно, с нерасщепленными ему и делать нечего, но в такие периоды ты изволь быть и расщепленным и ущербным, но и держаться на высшем уровне при любых передрыгах без слюнявых слез. А вы, наверное, старались вызвать жалость с помощью надуманных поводов. А потом еще и извинялись за надуманность повода, что было вдвойне непра-

вильно, потому что лишний раз напоминали ему о собственной душевной оплошности. То есть напоминали о себе".

Она отбросила камешек в сторону носком туфли: "Вы слишком сложно его воспринимаете. Это он на людях такой обаятельно трагический и озлобленно щедрый, и вообще не человек, а оксюморон. Но вы бы поглядели на него, когда уже нет третьих глаз, которые нужно охмурять, как будто видишь их в первый и последний раз. Уже нет людей, в глазах которых он тот верный и единственный, кто поведет их в последний и решительный бой. И он может позволить себе стоны от боли в спине, и крикание, и отрыжку от изжоги, и головную боль с похмелья от вчерашних разговоров". Она говорила о Четвергане ужасные вещи. Я сидел притихший и, опустив глаза, глядел, как пивная пена превращается из январских сугробов в весеннюю слякоть. "Вы бы увидели его сегодня на даче: небритый, с опухшим лицом, кричащий человек, с омерзением взирающий на каждую мою попытку оживить этот день неловко, конечно, смущаясь, и от этого у меня это получалось еще более жалко и неприятно и беспомощно".

"Но это ничего не меняет в том, что я говорил. Просто он начинает жить в присутствии чужих глаз. А ваши глаза давно похожи на его собственные. Точнее на глаза того его, который уже выдохся. Вот у него и выдохшаяся интонация. И все равно надо было бежать с ним нога в ногу. Чтобы он собственным лбом уперся в стену на пути к собственной неизбежности, а не воображал, что тыкается в вашу спину или что вы тянете его назад за руку. А сейчас он считает: сама виновата. Потому что если б вы двигались вместе с ним в том направлении, которое он укажет и которое ему указано свыше, все было бы в порядке. А так — каждая ваша неурядица для него это лишний повод доказать, что вы уклоняетесь и соответственно наказуетесь. Он будет рад каждому такому поводу, потому что без убеждений даже ему трудно обойтись".

"Все это можно было сказать в тот период, когда он не выходил из Копьевского, после юродства во время ученого совета. Тогда я могла понять, что ему нужно дойти до тупика,

биться головой об стену, чтобы убедиться в том, что есть на свете существо, которому на это не наплевать, и оно придет на помощь. Он тогда занимался проверкой, так сказать, существования Бога", и она запнулась от собственной многозначительности, но, не заметив намека на ироническую улыбку с моей стороны, продолжала: "А сейчас?"

"Сейчас", быстро вставил я, обрадованный возможностью сформулировать корень противоречия по глубинке: "А сейчас он уже убедился, что Бог существует — это он сам. И сейчас он занимается богоборчеством. Поскольку он давно понял, что он не просто неразумный хазар, не просто сын избранного народа, что всегда тяжело. Когда ты и есть избранный народ, это просто невыносимо".

"Это прежде всего невыносимо для окружающих", сказала она несколько раздраженно. "Для вас это тема для высокого разговора, а для меня это жизнь. Для вас он — это стиль жизни, а для него это железная необходимость. И у меня такое впечатление, что эта железная необходимость нуждается в моем отсутствии. Чтобы меня не было. Чтобы меня убили, например. Я не шучу: я серьезно подозреваю, что он надеется на мою смерть".

"Конечно. Но мысленно. Этим и отличается век нынешний от века прошедшего. Раньше надо было убить старуху-процентщицу, чтобы потом мучаться духовными противоречиями. Теперь же преступление совершается мысленно, а в качестве наказания человека перегоняют фон орт цу орт, взимая деньги за паспорт. А если бы случился метагалактический взрыв, можно было бы вообще не думать, кому тыкать в нос нашей солнечной системой. Конечно, как не помечтать, чтобы вы покончили самоубийством, и тогда можно было бы запереться в трауре, разобрать все бумаги, и с пустым чемоданом уйти к невидимым пределам. Но таких мыслей перед сном у каждого из нас целый багажный вагон. Есть такой детектив: там одна женщина так ненавидела своего мужа-миллионера, что оставила больше улики, чем настоящий убийца".

"Опять английская литература. Он целые дни читает английские детективы. Без словаря. Сегодня утром, на даче, про-

снулся как всегда мрачный. Я спросила, что он будет пить: кофе или чай. Он процитировал из книжки "Все о кофе", которую он читал с утра: если то, что я пил вчера, был кофе, то чаю. А если это был чай, то кофе. Он последнее время все время говорит со мной исключительно цитатами. Был такой потрясающий весенний день, я сначала копалась в саду, а потом мне захотелось пойти к озеру. Но он сидел на веранде в плетеном кресле и читал очередной детектив без словаря. Я не понимаю, как можно сидеть и читать книжку на незнакомом языке. И все время детективы: всё парики и подставные лица, но он все время сравнивает эти ситуации с отъездом, о чем я не могу уже слышать. Я ему предложила пойти на озеро, но он сказал, что собирается возвращаться в Москву. Он сказал, что сегодня проводы Тамаева. И на всякий случай спросил: не хочу ли я присоединиться. Но он прекрасно знает, как мучительно мне появляться на этих шумных и остроумных поминках, когда надо все время говорить что-то многозначительное и печальное, или наоборот все время острить, как будто ничего не происходит. Тем более, я не была уверена, что сегодня действительно проводы Тамаева".

"Не знаю, меня не пригласили. Впрочем, меня давно куда не приглашают", сказал я.

"Даже если сегодня его официальные проводы, я все-таки думаю, что он уехал в Москву, чтобы встретиться с Налитухиным, а вовсе не на тамаевские проводы. Он последнее время все время срывается с дачи, а потом возвращается пьяным, каким-то Ветрогоном, а не Четверганом. Я уверена, что он встречается с Налитухиным. У него странная к нему привязанность".

"Просто с Налитухиным он может вести себя свободно: Налитухин как раз то, что Четверган позволяет себе лишь словесно: Налитухин — это слова о разнузданности, но в натуре", сказал я. "То есть в общем то, что Четверган говорит в знак протеста. Наперекор стихиям. Налитухин — это Нагретеч, то есть Четверган наоборот".

"Если вы правы, и если я превратилась в Четвергана в юбке, в его двойника, и он от меня бежит как от самого себя,

то я должна бежать от него: завести себе любовника. Пусть знает", она закусил губу. "Налитухина, например. Это идея".

"Это не поможет. Он просто не заметит. Он настолько этому не захочет поверить, что просто не заметит. Вам надо просто переждать. Он сейчас впал в очередной период. Он ведь каждые десять лет меняет шкуру. И как к змее, которая сбрасывает шкуру, к нему опасно приближаться: укусит. Он живет одной идеей, пока та себя не исчерпала. Потом наступает плохой период, пока новая идея не защебечет, и он будет с ней носиться по всем домам и переулкам и требовать от каждого и всякого последнего и решительного ответа на очередной вечный вопрос. И так он будет вечно поднимать и шелушить эти идеи как орехи, а шкурки кидать через плечо, и они, конечно, летят кому-то прямо в лицо и это, конечно, обидно. И поэтому так опасно двигаться позади него: всегда нужно или сбоку, или чуть впереди. И сейчас он меняет свою идею "ты и я", то есть Вы и Он, которая стала ваша. И всякое уклонение от его новой идеи он воспринимает как предательство, и то, что вы не хотите двигаться вместе с ним в иерусалимском направлении, он будет выставлять как объяснение вашего несчастья. Вот если бы вы двигались вместе с ним, все было бы в порядке".

Она поднялась, накинула сумочку с ремнем на плечо: "Плохо себе представляю, что с ним будет, когда он осуществит все свои великие идеи. Вы думаете, он возвратится ко мне? Сомневаюсь. Скорее всего, произойдет то, что происходит с великим человеком, осуществившим свою великую идею: другой не будет никогда. Другой не будет, и он меня променяет не на кого-то, а на н и к о г о".

И она двинулась по тротуару, вокруг памятника Пушкину, когда в окне троллейбуса, поворачивающего вокруг сквера, я вдруг увидел Четвергана. Они двигались почти параллельно, Нина по тротуару, и Четверган в окне троллейбуса, и я ждал, что Четверган вот-вот махнет рукой и позовет Нину: я ручаюсь, что он видел ее, он ее рассматривал. Но троллейбус набрал скорость и понесся вниз по бульвару. Четверган даже не оглянулся. Он ехал на проводы Тамаева или свои собственные проводы?

9

Опять забылся он, а сколько страдал на этом маршруте от удара по голове до неподвижного верчения в кресле на колесиках. Он забыл, что все началось с кресла без всяких колесиков, что все началось с дружбы и России без всяких кавычек. Он забыл, что все началось с того, что он совершил нелепую выходку. Он забыл, что он сбежал с дачи. Он забыл, что все началось с другого кресла. Он забыл, как идя на проводы Тамаева, отбивавшего по маршруту Москва—Иерусалим, он встретил Налитухина. Четверган тогда и не думал об отъезде. Наоборот, он изо всех сил делал вид, что думает об оставании. Об оставании вопреки всеобщему марофону. Но оставлял он себя как некоего другого человека и всеми силами доказывал самому себе, что все, что с этим двойником ни происходит, удивительно и прекрасно, просто лучше быть не может, и относился к этому двойнику самого себя с раскосой жадностью, на обе стороны косясь: и на себя остающегося и на себя отъезжающего, обоим завидуя и взнуздывая каждого из них в заданном направлении — на оставание и на отъезд. Обе идеи были вечными и несокрушимыми, как Иерусалим небесный и Иерусалим земной, и на их жертвенник можно было приносить жертвы ежедневно, превращая жизнь в праздник, который всегда вне тебя. Вне его оказался Налитухин, с которым он столкнулся у подъезда Тамаева.

"Ты мне можешь перенести кресло", сказал Четверган, и Налитухин сразу понял, что дело не в том, чтобы кресло перенести с одной улицы на другую, а дело все в самом празднике переноски кресла, за которым последует еще один праздник, который не имеет отношения к креслу, но зато будет продолжением того вечного накручивания через канифас-блок в направлении ручья Безолаберного и гибели "Титаника". Налитухин шел рядом своей немного расставленной походкой, грудь нараспашку, и Четверган, выслушивая излияния Налитухина про то, что его Маша оказалась "не наша", представлял себе всю прекрасную нелепость этой затеи: когда они будут нести это кресло по улице, кресло будет ехать на их плечах, в то время как ты должен сидеть

на нем, а не оно на тебе, и вообще оно должно стоять у окна, а не плыть по воздуху. И одно то, что он согласился взять тамаевское кресло на память, зная, что самого его скоро не будет в Москве, и что на этом кресле будет сидеть некто, кто останется вместо него, Четвергана, который уедет, который, собственно, уже уехал, а идет с Налитухиным вовсе не Четверган, а тот, кто вместо него остался, создавало ощущение прекрасной забывчивости мистика из Бреслава, про которого он прочтет много позже в случайном путеводителе, пересев в кресло на колесиках и забыв, как они входили в московскую квартиру Тамаева. Тамаев сидел в кресле, которому предстояло переехать на Преображенку, и рвал на мелкие кусочки собственное прошлое, взамен которого он получал розовую выездную визу. Вокруг стояли, сидели, ходили, входили и расходились в похоронном бдении люди, собравшиеся здесь, чтобы поглядеть на обезьяну, вставшую на ноги, чтобы возвратиться к состоянию первобытного доисторического предка, а вот провожающие не осмелились решиться на такую метаморфозу и пришли выразить преданность и верность уже незнакомому — не человеку, а переходному периоду, когда эта верность и преданность не нуждается ни в каких подтверждениях.

"Вы за креслом пришли?" спросил Тамаев.

"В принципе это не имеет значения, мы можем забрать его как-нибудь потом", сказал Четверган.

"Когда — потом?" потер лоб Тамаев, для которого "потом" начиналось уже на другом свете.

Когда они вытащили кресло на тротуар, оно стало похожим на сумасшедшего в полосатой пижаме, сумасшедшего из другого века, неприкаянное и без крова над головой. Но когда они подняли кресло на руки, как несут императора на паланкине, и двинулись вниз, кресло стало покачиваться, как будто на нем сидел невидимый некто, тот, кто уже уехал. И Четверган и Налитухин успели перехватить из многочисленных бутылок, круживших на проводах Тамаева, которые надо было не сдавать в магазин, а засовывать в них будущие письма, чтобы кидать в Мертвое море. И когда они несли кресло, их тоже покачивало зло и весело, и прохожие оста-

навливались, заглядевшись на эту странную процессию, как будто эти двое смеялись над невидимым царьком, который сидел в этом пустом кресле, и, невидимый, отпускал остроты время от времени, и это веселило царских носильщиков. После того, как кресло было поставлено на старом новом месте, перед окном, из которого можно было видеть ворон, слетающих на закате к большим деревьям, Четвергану ничего не оставалось, как поддаться уговорам Налитухина и дать себя увести в направлении заведения "Дружба" — естественного окончания всяких проводов куда бы то ни было.

Относительный период, затянутый самобытнейше, в меру оригинальнейше, близился к своему логическому и нелогическому несоответствию. Пока Тамаев отражал, наверное, своими зрачками американскую статую Свободы с серпом и молотом в руке, и хотя у нее, может, в руке и факел, но когда у статуи поднята приветственно рука, нам все равно будет казаться, что у нее в руке серп и молот; пока он спускался и кружил перед посадкой над континентом Америго Веспуччи, Четверган, не сходя с кресла на колесиках в вожделенном здравии в сопровождении графа Готлайдского, в согласии с месяцесловом знатнейших приключений, содержащим в себе 366 дней на знатнейшие места Российской империи, продвигался в обратном направлении из Фридрихсгама через Йошкаралаим по Кузнецкому мосту к заведению "Дружба", где собирался препровести последние часы тамошней инкарнации. С сомнением я взираю на окрестность: какая не знакомая мне местность!? И лишь Налитухин, наливавшийся с каждой секундой все больше, оставался самим собой. Четверган забыл про кресло. Нагревтеч улыбался беспричинно, Налитухин шел, выходя на плечо вперед. Белая овца пришла домой первой. Черный бык пришел вторым. Все казалось прекрасным: и улица, подернутая теплым облачком весны и клейких листочков, и лица торопливых прохожих, не думающих о вчерашнем дне, поскольку отдали душу октябрю и маю, вымытые с большим количеством "ы" мусорные урны, все это было праздником, который всегда с тобой, потому что от него некуда деться. И это лучше того. Мира

до нас не было тысячи лет и после нас не будет. Мы русские. Вы не русские. Они не персы. Они турки. Я кузен. Они, наконец, пересекли речку Неглинку по Кузнецкому мосту, и приблизились к полавку "Дружба". Но прежде, чем нырнуть, они решили подкрепиться, и купили по два горячих пирожка с ливером по гривеннику на углу в киоске. Налитухин жевал и врал. Врал он медленнее, чем жевал, и поэтому ему было куплено еще пара пирожков с ливером. Врал он на этот раз про свою Машу, что, впрочем, неважно, потому что врал он всегда одинаково и воодушевленно, и Нагревтеч лишь издавал подтверждающие "ыгм? ну! угум, нда?", скорее лишь для того, чтобы разогреть это воодушевление еще больше, без того разогретое горячими пирожками и количеством уже выпитого. Поскольку эти междометия ставили под сомнение трагическую бурю в стакане налитухинской души. Глаза у него в такие моменты съезжали в поволоку, губы скорбно уголками вниз, он периодически вздыхал и закатывал глаза, и хрипел: "Не каждому в руки даются муки!" Никогда нельзя было точно сказать, нагоняет ли Налитухин очередную парашу с целью повисить ставки в глазах окружающих, или же с ним действительно происходит катастрофа. Никогда нельзя было с точностью сказать: в глазах у него голодный блеск, страх или охотничий голод? И почему вдруг начинал соглашаться и ласково в глаза смотреть: для того, чтоб не обидеть, или для того, чтоб уцелеть? Он возмущался заранее, потому что заранее знал, что ему не поверят. Он, в действительности, всю жизнь провел настолько в здоровом и счастливом расположении духа, что когда с ним действительно случилось нечто неприятное, он сам этому не верил. И поэтому раздувал свой несчастный случай до таких размеров, что и другие ему не верили. То есть в плохое утро плохого дня надо было раздувать свое плохое состояние, поскольку другой случай быть несчастным не скоро представится, чтобы пожаловаться на собственную судьбу:

"Что же делать? Что со мною случилось? Каждый день я у других колен", и Налитухин поперхнулся пирожком с мясом, и кашлял долго и упорно, пока на глазах у него не показались слезы. "Меня Машка из дому гонит. Я ей говорю: от недол-

гого уюта дверь открытой поддержки. А она мне: не заманишь тертых юбок на косые падежи. Причем тут косые падежи?! У нее идеи, у нее шпильки в голове, она не понимает, что меня инстинкт не туда заводит. А у нее интеллект на первом месте. Последний месяц, как ни приду пьяный, она у меня перед носом дверью хлопает и кричит: "Прощай немытая Россия!", и он вытер салфеткой из-под пирожков слезу от кашля. И никакие советы не идут впрок. Вот ему опытный женатый друг чего посоветовал? Ты, говорит, перед тем как в дверь звонить, ты разденься догола, а как только она дверь отопрет, ты первым делом в щель свои шмотки кидай: не будет же она тебя голым на лестничной площадке держать — пустит. И чем этот совет обернулся? Возвращался он раз домой, пьян в дупель, дверь открылась, Налитухин быстро свои шмотки с себя снимал и в приоткрытую дверь кинул. И вдруг слышит голос, и вовсе не машин голос, а такой громкоговорительный: "Осторожно, двери закрываются! Следующая станция Проспект Маркса". И из вагона метро попал он не в квартиру, а в милицию. Но взбунтовалась Машка, когда Налитухин Ленина с собой в постель притащил. То есть этой зимой он стоял пьяный в дупель и такси ловил на морозе. И мороз был такой, что просто высморкаться нельзя. Он стоял с поднятой рукой и попутки ловил. Никто не останавливался, и только пожалел его снегоочиститель: в кабине был уже попутчик, но ему сзади, на контейнере разрешили пристроиться. И когда он уже взбирался на снегоочиститель, видит стоит человек замерзший, тоже руку вперед протягивает, попутным машинам сигналит, весь белый от мороза, просто заоченел весь, без шапки, лысый, в одном пиджаке. Ну он его на плечи и на снегоочистителе довел до дома. Так они вдвоем на тахту и повалились, не раздеваясь. А утром его Машка будит и кричит: "Ты зачем в мой дом Ленина притащил?!" Налитухин очухался и видит, лежит он в обнимку со статуей Ленина в полный рост из гипса: он рукой не такси ловил, а указывал, оказывается, к светлому будущему! Вот тогда его Машка из дому и выгнала. И Налитухин, нахмурившись строго, на ходу косясь Четвергану в глаза, стал выспрашивать, какие там у Нины возможности в химическом

смысле и есть ли доступ к ядам, вдруг спросил Налитухин, намекая на то, что предназначенное расставанье обещает встречу впереди и что она. Маша, в неведении спокойном пусть доцветает без него. Отныне яд коварной мести ничей уж не встревожит ум. "Угум, мда!" сказал Нагревтеч в ответ и усмехнулся кинжальной улыбкой. Умом мы жили и пустой усмешкой. Не знали, что закончим перебежкой.

Пока Налитухин намекал на встречу, предназначенную расставаньем, Четверган поглядывал на витрину за спиной, где с внутренней стороны маляры по случаю ремонта написали белой известкой слово "тномер"; потом доел свой пирожок и сказал Налитухину: "Пирожок, он служит стимулом, чтоб его после съедения запили соком". И попытался двинуться к сокам и водам через перекресток в направлении географических карт, но Налитухин взял его под локоть и они взошли на ступени "Дружбы" в кавычках. Слепой, как будто с раскрашенной маской на лице и в партийно черном пиджаке, пробовал преградить им дорогу, протягивая руку за гривенником.

"Свои", кашлянул ему Налитухин, слегка отодвинув его плечом. "Ну и парочка", покачал бритой головой попрощайка, но руку убрал. На Четвергане наоборот во все стороны торчал немислимый сюртук: очередная подачка, которая, кем-то подаренная, валялась на даче, но была напялена по причине спешки из-за отсутствия пиджака на своем месте и времени его искать в другом месте. Такая нахлобучка черного драпа для холодной весны, похожая на фрак или на мундир миссионера. И вид в целом был такой: важный фронт, сапоги в рант, голова на каблуках, помойное ведро в руках. Налитухин же был как бесцветный гуталин лицом, в распахнутой возбуждением куртке-тужурке то ли охранника, то ли космонавта, то ли золотоискателя, а может, и рыбакова. В воздухе крутился веселый весенний ветерок, обещавший осеннюю поземку чигичинахского направления винт, и через дыры в налитухинской душе шуршал золотой песок десятками на чай таксистам, и разливался рассуждениями нога в ногу о бездуховности, где Четвергану-Нагревтечу отводилось место бича при золотоискателе, гульнувшего в столице.

Оставался за спиной Кузнецкий мост через речку Неглинку и копьевское одиночество и Йошкар-Олаим и Фридрихсгам: приближалось сплошное здесь, без всяких там. Они толкнули стеклянную дверь, и "Дружба" в кавычках заблестала и засвистела во всем ее поганом налитухинском величии.

Чего не потеряешь, того, брат, не найдешь. Его, то есть Налитухина, встречали здесь как римского триумвира. Очередь в раздевалку была гигантская, но даже если б не было в ней ни одного раздевающегося, привилегия триумвира: войти, не снимая военных доспехов. И не задерживаясь у вешалки, они вошли в звон ложек, подносов и половников, звучащих звоном победных литавр. Торжественно лавировали среди жующих и не сбили краем своих хитонов ни борща суточного командировочного Хасана, ни биточков учрежденческой Лейлы. Миновали столик, где военнослужащие распивали бутылку водки, разливая ее под покровительством газеты "Правда": каждый из трех, опрокидывая бутылку в стакан, углублялся в чтение газеты "Правда" так, что не видно было ни лица, ни бутылки, ни стакана. Распорядительница столовой в больничном халате пробовала крикнуть Налитухину насчет запрета появляться в верхней одежде в общественном питании, но, узнав его, по-матерински лишь пригрозила пальцем. Он откланялся и пригласительным жестом указал Нагревтечу на ступеньки, ведущие в дальний полутемный, скрытый за самообслуживанием, зальчик. Оттуда уже слышалось чье-то разнузданное: "Не надо ни выпивки, ни девок — лишь бы были друзья!" И они оказались в незнающем смены дня и ночи беззаконном заднем помещении, где вывеска "не курить" на фоне сингапурских фресок тонула в клубах табачного дыма. В свете немногих лампочек поблескивала кофейная машина с вывеской "закрыто на ремонт".

"Пока не рассекретили наше инкогнито, и не набежали здешние обормоты, предлагаю поднять эти два стакана "Солнцадара" за неизбежность смены. Он него кишки слипаются, но у нас нет иного выбора: отныне яд коварной смеси ничей уж не тревожит ум", и Налитухин разлил по граненым стаканам. "Машка, Машка, нашла кому довериться, беспеч-

ная: ревнителю и груму череды". И они чокнулись, "Завидую я тебе: вот я у тебя дома краем глаза заметил: рубашка выглаженная на стуле висит, и рубль будильником заботливо припечатан. А я? Печальный демон, дух изгнания. Невозможно стоять у порога, за которым то мил, то не мил. Вот раньше, если лежать на диване, отвернувшись лицом к стене, то ведь втайне был уверен: придет она, утешительница. А теперь сколько ни лежи, отвернувшись лицом к стене, точно знаешь: нет, не придет. Потому что глаз не блестит. У меня раньше глаз сиял. А теперь, погляди, ведь свинец в глазах", и он повернулся к Четвергану и, растопырив глаза, напрягая зрачки, уставился ему в глаза: "Не блестит?"

"А вот я по лесу иду, вижу на полянке что-то блестит", затараторил над ухом визгливый голосок, и к ним сбоку, боком, примостился на стуле человек с могильным гамлетовским лицом, в выпуклых очках в железной учительской оправе "как закалялась сталь". От "Солнцадара" через желудок шло жгучее обострение зрения: как будто плеснули в глаза струей пара из кофеварки, и на секунду состояние ослепления вместе с разбегающимися торчащими резко деталями. И голоса отодвинулись, перестали соответствовать говорящим лицам. "Вот иду я по лесу и вижу блестит", продолжали выговаривать обезьяньи губы очкарика. "Подхожу: блестит. Нагнулся — блестит. Взял в руки — и что бы вы думали? сопля!" и он откинулся, и его кадык беззвучно загоготал. "Давненько вас не видали, космонавт. Как с золотым запасом? Чего это у тебя в глазу блеска нет? Тусклый глаз. Нельзя без блеска в глазу. Это я как аптекарь тебе говорю. Глотнуть дадите?"

"А вот сбегай", и Налитухин швырнул ему десятку. И когда аптекарь, слизнув пальцами десятку как рецепт, мотнул за угол, Налитухин вздохнул: "Разоблачили мое инкогнито", и пока губы кривились в скорбной гримасе, глаз самодовольно сверкнул. "Я ведь их всех поил. Я им такие четверги тут устраивал", и Четверган вздрогнул от неподходяще промелькнувшего совпадения. Налитухин, как всегда, не заметил вздрога. Он был в состоянии первого стакана: истина умиротворенно разворачивалась перед ним, как соленый

огурец с черным хлебом для закуски на развернутой газете, и впереди еще непочатая бутылка гарантией будущей вечной жизни, и позади прощенные обиды. Включился до этого незамечаемый шумок вокруг пластмассовых столиков, где различные девушки из почтовых ящиков устраивали себе личную переписку устно и в прямом контакте с мужскими инженерами. Как будто специально под налитухинскую грусть получалось, что все сидели, повернувшись к ним спиной. Налитухин, глотнув остатки первой бутылки солнцедара, закусил губу и откинулся по-байроновски.

"Я ведь для здешней дружбы выворачивал носки от доски и до доски. Неразмненным золотым я летел с ладони. Чтобы все крутилось, вертелось, чтобы каждый из них, заглядевшись на секунду в прекрасной спешке, шептал губами: "вот это жизнь! вот она, жизнь!" Разбирайте ложки, отдирайте брошки: я ведь ради них на голове по проволоке ходил, я кидал в "Пекине" сотни. А им-то было все равно. У каждого ведь свои принципы. Вот ты, у тебя идеи, у тебя слова, ты их на открытках пишешь, марки приклеиваешь, рассылаешь в неизвестном направлении. А я что? А я ведь всего себя протемпелевал по каждому адресу. Я ведь с каждым и с каждой и через суд прошел и через постель. Через огонь и водку. Все теперь сидят по своим домухам, у девочек детишки, которых они здесь завели, у мальчиков принципы, которые они у меня прикарманили. Да я эти принципы, я их горстями мог раскидывать: чтобы каждый плясал не просто так, но со значением. Но ведь чтобы плясал. Чтоб выворачивал носки от тоски и до доски. Да, я принципы навязывал, но для чего? Чтобы были отступники и предатели, чтобы были фанатики и примирители, чтоб лепету палимого уroda победная сопутствовала медь. Чтобы ревновали, обижались, бились в истерике, целовались, выцарапывали глаза, надрывались от отчаяния, вешались, травились, спасали, затаскивали в постель, вытаскивали из петли, плакали в подушку, напивались в доску, забывали родителей, кормили из ложки стариков и немощных, пели хором и уходили по одиночке. А что бы делала без меня та же Машка? Что бы делали все эти девочки, с утра до вечера просиживающие жизнь в ящиках и в химических

лабораториях? Что бы делали без меня все эти спившиеся инженера? Да и что человеку делать с этой принципиальной идеологией, когда он ночью один под одеялом? И эта честность и долг и совесть, как черный комарик сосет кровь из-под самой печенки. Не ты на нем летишь, а он на тебе ездит. И гонит, и догоняет, язык высунул, а он все сосет, а впереди темная ночка, булатный кинжал, на золотой цепочке турецкий самопал. А я ведь им жизнь делал, я им показывал, надо делать жизнь с кого. И что с этого? Какой с этого навар? Отвернулись спиной к своим принципам и меня же обвиняют: легко обвинить, когда все, что с ними ни произошло, я во всем замешан. Яду мне, яду!", и они разлили остатки солнцедара, когда на ступеньках, ведущих из зала самообслуживания замаячила фигура очкастого аптекаря. Пиджак у него оттопыривался двумя небрежно припрятанными за пазуху бутылками.

"Эй ты!" замахал ему стаканом Налитухин. "Вот и он, быстро обернулся, продавец ядов. Он сюда десять лет ходит. Его из аптеки выгнали за то, что спирт воровал. Сам-то он не пьет, но делает вид: чтоб своим считали. На что живет, никто не знает. Как большая поддача, он всем ключи предлагает, если кому нужно с бабой, он ключик дает бесплатно. Но потом его вывели на чистую воду: он не просто так ключи предлагал. Он подглядывал. У него там две комнаты было: от одной комнаты ключи дает, а из другой подглядывал. И даже на сеансы водил за плату. Тут все так друг с другом и перезнакомились. Все всё друг о друге знают. Кто что любит, когда и как. Такая сверхсемейная жизнь. Чтобы каждый знал, когда кому от чего плохо, чтобы по прищуре глаз было ясно, кто чего хочет, и точно всегда знал, что если тебе плохо, то она всегда придет. Не понимаю я этих экивоков, мне вот чтобы все свистело и летело, чтобы все друг с дружкой в одной тарантайке. То есть, конечно, нужны ревность и слезы и разлука, но чтобы все это для встречи, чтобы все вместе за руки, чтоб не пропасть по одиночке. Вот мне вчера сон снился: и вся жизнь представилась как один Кузнецкий мост, длинный такой, светлый и широкий, под ним речка колыхается, листочки клейкие нависают над водой, а по обеим сторо-

нам моста ко мне руки протягивают и улыбаются и машут приветственно различные знакомые и приятели, но все они — это я, то есть Налитухин, но как бы в разном виде, то есть иногда даже и узнать нельзя в женщине Налитухина, однако я иду по мосту и знаю, что все они — это я, и я со всеми хочу перецеловаться и переобниматься и вдруг обнаруживаю, что меня-то самого и нет, и легко так мне и хорошо глядеть на себя со стороны, а самого меня и нет. Кто я и что без них? Вот ты, аптекарь, историю инквизиции изучаешь, почему же это называется четвертование, если две ноги, две руки да еще голову надо отрубить? Это же пять ударов надо сделать и на шесть кусков — почему же четвертование?"

"Я до четвертования пока не дочитал", засуетился аптекарь, выставляя на стол две бутылки "Зубровки". "Я пока дошел только до колесования".

"А как насчет рецепта в мир иной? На одном солнцедаре с зубровкой туда не попадешь. У меня намерения серьезные, где рецепт яда, я тебя спрашиваю? Мне надо готовиться к разлуке с Машкой, а ты резину тянешь со своим колесованием. У меня иные колеса в голове стучат", и Налитухин, размякая от будущих слез по самому себе, когда он найдет себя отравившимся с горя, стукнул чувственно кулаком по столику.

"Свой человек?" осведомился аптекарь, скашивая выпученные стеклами очков глаза на Четвергана. А тот, с каждой секундой превращаясь в Ветрогама, поглядывал на растущий вокруг шумок, пропадал в этой "дружбе" в кавычках, где тебя никто не знает, и никто не узнает, и останешься ты для них на время этого посещения тем, за кого они тебя приняли, и кем ты никогда больше не будешь. Меж столов снова лысый, который делал вид, что он слепой, и протягивал руку за гривенником у входа. Сейчас у него появились острые глазки, которые выхватывали что-то на столах. Он прохаживался с оглядкой, а потом делал рывок к очередному столику, усаживался, закладывал бумажную салфетку за майку под пиджаком, вдруг принимал солидный независимый вид. Потом придвигал к себе тарелку с объедками, вооружался вилкой и быстро вычищал ее, победно поглядывая и выглядывая новый столик.

"У него сегодня молочный день: видишь, только к сырникам подсаживается", сказал аптекарь, уклоняясь от разговора о рецепте.

"Это правильная идея", сказал Нагревтеч, чокаясь с Налитухиним. "Этот лысый вегетарианец не делает вид, что то, что он делает, говорит или ест, никто до него не делал, не говорил или не ел. Он как есть все принимает. Все это уже было. Он лишь подчиняется закону круговорота воды в кофеварке по перкуляторному принципу".

"Вы по ремонту кофеварок работаете?" осведомился аптекарь. "А скажите, можно ли в кофеварке варить чай?"

"В принципе, да," сказал Нагревтеч, "но в фильтре будут залипать дырочки".

"Ты ему мозги не залипай", прервал аптекарь Налитухин. "Ты мне уже год обещаешь рецепт, где рецепт?"

"Тебя же не поймешь: ты серьезно, или чтоб приятеля удивить? Ну если не шутишь, то можно составить тебе один рецептик. Компоненты сможешь приобрести в любой аптеке. Только в разные аптеки загляни, чтобы не вызвать подозрения. А потом, когда смешаешь, в пропорциях рецепта, эта смесь и приобретает то самое качество. Сечешь? Но я тебе рецептик запросто так не отдам, за это знаешь, сколько можно хлопотать?" и он оглянулся. И, отвернувшись, чуть не залезая головой под стол, долго мусолил по записной книжке чернильным карандашом. Потом вырвал листочек, сложил его в четыре раза и сунул под стол Налитухину, как будто он рецепт передавал, а отдельно несознательная рука. Налитухин развернул листок на ладони, как бабочку, и долго рассматривал. Потом поднял глаза, разорвал медленно листочек на мелкие кусочки и швырнул его в лицо аптекарю:

"Пошел отсюда! быстро! На мальчика рассчитываешь? Ты что же мне пишешь? Аспирин со снотворным? на сон грядущий? чтоб меня потом рвало? чтоб меня потом откачивали? Ты что же, думаешь, я не понимаю, что это тошнотворное, а не снотворное? Тут ведь чуть меньше, чуть больше — и блевать будешь, вместо сна навеки. Такому рецепту только мальчик поверит. И ты меня, меня вздумал провести на снотворном?"

"Ну ладно, ладно, ну не дал себя обмануть. Ну я клянусь, я тебе завтра все приготовлю, у меня приятель есть, он для меня все сделает".

"Приятель?!" заорал Налитухин, приподымаясь вместе со стулом. "Ты еще приятеля привлекаешь? Третьего лишнего? А где твой приятель служит? Ты, милый, вали отсюда. Иди вору, пока трамваи ходят. И носи чемодан, понял? Я хочу объявление сделать. Уходить нам отсюда пора. В далекие края. Неси чемодан, аптекарь. Я хочу объявление сделать."

Аптекарь, обрадованный исходом дела, побежал за кофейной машиной на ремонт и вернулся, таща в обеих руках огромный чемодан. Чемодан был настолько тяжел, что аптекарь не мог оторвать его от пола. Но Налитухин рванул чемодан к себе на колени, как будто он был пуст. Он поставил чемодан на колени и продолжал сзую элегическую тяготию, как будто на полустанке, с чемоданом на коленях, в ожидании поезда:

"Хороша Маша, да не наша. А которые приходят на короткие места, только около и вроде, как перила у моста", и он печальным жестом обвел подвыпившую публику. "Вот раньше, если у меня мысль о самоубийстве возникала, я знал, что человечество обо мне думает. А сейчас я знаю, что человечеству наплевать. Не нужен я людям. Конечно, если б я локтями толкался и рвал бы удачу на лету, и старался бы заполучить любовь человечества, оно бы меня тоже спасало. Но ведь есть же в этом несправедливость, что вот если самому не стараться, вот если просто лежать, лицом к стене, и никого не любить, то и тебя никто не полюбит. Нет на свете безвозмездной любви. А вот если я даже моральный урод, что же — и нет у меня никакого шанса?"

Налитухин настойчиво сворачивал на ту же колею, нажимал на те же педали, как будто ожидая, что новый встречный рванет баранку в другую сторону, и реальная катастрофа подтвердит его плохо подтверждаемое несчастье. Он как будто подмешивал составы, вполне законные, которые можно приобрести в любой аптеке, замешивая несуществующий рецепт, и надеясь, что из этого толчения в ступке выйдет взры-

воопасная смесь, и можно будет гордиться своими ранами и орденами. Пока он ораторствовал, вокруг столика разворачивалась большая жизнь, диалектически опровергая его лозунги об отсутствии шансов. Шансы носились в воздухе как неуловимые кварки. Уже к зубровке подмешивался снова солнцедар, а к солнцедару подклеивался разведенный спирт. Налитухин не выпускал чемодана с колен, умудряясь одной рукой наполнять стаканы и отставлять пустые бутылки. Вокруг сновали худенькие лица болезненных, измученных людей, лишенных, как в тюрьме, в стенах твоих, столица, цветов и воздуха полей. Четверган сидел, прислонившись спиной к стене, и вслушивался и одновременно не вслушивался, вглядывался в клубы дыма и шурился, или наоборот, старался не глядеть. Взгляд прямо в глаза мешал слушать всю эту ерунду, и он отводил глаза в сторону, и чего-то прикидывал в уме, и сопоставлял. Но за его толстыми стеклами при его косоглазии вообще было непонятно, куда он смотрит, хотя зрочки казались огромными, гигантскими, сверхличными. Его память работала как резиновый клей во время разговора, обрезая ненужное, подклеивая по случайному сопоставлению, которое потом становилось несчастливым объяснением разговора, обрывала на ходу, чтобы вернуться к тому же, с другого конца. Он сидел с белым лицом в черном нелепом с чужого плеча сюртуке, как будто во фраке, и следил внимательно за дракой, и глотал жгучее вино. И вдруг прорывалось, как сквозь помехи радиоприемника, монотонный налитухинский надрыв:

"Нет, но как же так: ведь если я ее жду, изо всей силы, на всю катушку жду, через канифас-блок и на турачку жду, она же должна прийти, чего же она меня ждать заставляет? Если она не понимает, в каком я состоянии, значит ошибся я в ней, как в бабе, а если понимает и не приходит, значит ошибся я в ней как в боевой подруге. Я ковал ее железными подковами, я пролетку ее лаком покрывал".

"В конце концов, наша жизнь — это смена настроений. Но дело в том, что при каждом новом настроении чувствуешь похмелье от предыдущего настроения, да еще и слюна течет от предвкушения нового настроения в будущем, так что

в конце концов все эти построения превращаются в такое построение, которое требует все тех же ответов на те же вечные вопросы", объявил Четверган.

"Когда я говорю с тобой, я лишаюсь всякой половой интуиции", глубокомысленно и задумчиво отвечал не ему чей-то женский голос. И вдруг с дальнего конца командировочный басок: "А помните, Иван Иванович, как под вас Иван Иванович подбирался? А вы его на партсобрании, Иван Иванович, таки подмяли, подмяли его, гада".

"А сейчас он должен выслушивать интимные гадости одного своего начальника про другого, как один, трагическая натура, должен продаваться и будет продаваться, потому что нету выхода и все, и в этом трагедия, а этот тип цинично занимается всем этим дерьмом и в ус не дует, и это для него не трагедия, и это-то и бесит". И вдруг: "Жить тяжело, когда взгляд не тот. Хорошо, предположим, но где я возьму такую сумму на отъезд? У меня даже паспорт не продлен. Но я сделаю шаг, и они в свою очередь сделают шаг, а тогда остается надеяться на чудо, вдруг вывезет?"

Такие разговоры сами по себе еще одна жизнь, даже если это жизнь обезьян. И нечего искать тут никакой сущности. И если записать эти разговоры на магнитофон, то ничего кроме мэканья и бэканья не услышишь. Надо было слушать и добавлять в уме те слова, которых никто не сказал, и сам этот процесс слушания и создавал иллюзию всепонимания. Как она на меня посмотрела, как я на нее посмотрел, а потом она на меня посмотрела, а я на нее не посмотрел, но ее подруга сказала, что она сказала, что он посмотрел, хотя на самом деле он сказал, что она на него не посмотрела. Вот что получится, если записать на магнитофон, и понятная банальность на фоне загадочной тарабарщины покажется откровением. Но в тот момент, когда ты сидишь окруженный говорящим дымом голосов, ты вносишь в реплику с соседнего столика свой собственный смысл, который крутится у тебя в голове вне зависимости от чужих реплик, и тогда расслабленная чушь становится высоким разговором, который существует только для тех, кто в нем участвует. Как будто ты слушаешь радиоприемник через наушники, и стоит снять наушники,

ты ничего не услышишь: ты услышишь разговор в комнате, где собеседники не подозревают, что есть еще разговор, который слышен только человеку в наушниках. Но, надев наушники, он перестает слышать разговор в комнате. Незаглушенные глушилкой голоса глушили всякое движение мысли в комнате, и надо было выключить внешний звук, надеть наушники и слушать свои голоса индивидуально. Когда их глушили, казалось, что говорят они нечто жизненно необходимое, чего ты не мог расслышать из-за глушилки. А когда их перестали глушить, оказалось, что сказать они ничего не могут, а то, что могут, мы и сами можем додумать, а для нас нет разницы между мыслью и действием. И каждое слово в настоящем имеет историю, которую приходится искажать, чтобы связать с третьим, которое будет иметь значение в будущем, которого не существует с точки зрения одного языка и существует лишь на том языке, на котором как раз присутствующие и не говорят. На языке библейских пастухов существует активная форма пассивного действия, но не существует понятия будущего в прошедшем, которым вооружены бывшие викинги. Но то, что для них означает конец книги, для других означает только начало. Сейчас, сидя в кресле на колесиках, Четверган перебирал старые листочки и кусочки и пытался вспомнить, что же, собственно, говорилось тогда в этой забегаловке под названием "Дружба", и он не мог вспомнить, точнее, вспоминая, он придумывал заново. Раньше можно было вслушиваться и подпевать про себя собственный мотив; сейчас надо было самого себя придумывать, самого себя выискивать в старой переписке, самого себя записывать, а потом прокручивать на магнитофоне. Из чего составлялся этот ядовитый рецепт, из какой ерунды? Вспоминать до иступления всякий ерундовый разговор и с ужасом убеждаться в том, что в случайно и неохотно, или наоборот — в до смешного легкомысленно мелькнувших у случайного собеседника словах было сказано о тебе то, в чем ты сам себе никогда не признался или никогда бы до этого сам не догадался. Память враждебна всему личному, и уличить в предательстве может лишь случайная реплика собеседника, заставившая вспомнить то, что поклялся забыть.

Память совершает самопредательство, и в этом ее уличает случайная реплика, странным образом отвечающая на твой негласный вопрос. И в этой запрятанности и желании ее разоблачить — тайна всякой встречи. И ты ждешь от каждого разговора, когда раздраженное собеседником щебетание твоей памяти вдруг закричит чужими словами. И вот когда ты прокричал чужими словами очередной донос Господу Богу, вот тогда встреча и заканчивается, вот тогда ты снова в настоящем времени, свободный и с марсианской жаждой творить. Потому что свобода — это прояснение прошлого через случайный разговор. И как будто выдвинулись снова лица на минуту отрезвления:

"Понимаешь, травка такая или грибок, ты ее сосешь там или навар делаешь, а потом можешь разговаривать с другими людьми, которых нет, но которые как будто есть. Причем бывает так, что ты сам понимаешь, что этих людей на самом деле нет, а ты просто сам с собой разговариваешь. Но бывает и так, что для тебя они существуют на самом деле, а в действительности они одно твоё воображение", солидно растолковывал Налитухин, сидя с чемоданом в руках.

"Подумаешь, навар!" включился в разговор Четверган, "вот если совершенно ничего не делать, никого не видеть, запереться у себя в комнате и не вставать с постели недельку-другую, засыпать, видеть сны, просыпаться и снова засыпать, то в конечном счете начинаешь разговаривать с разными выдающимися личностями, которые расхаживают по твоей комнате и стоят над твоей постелью. Причем иногда ты понимаешь, что они тебе только кажутся, а иногда так и невозможно сказать, были ли они в твоей комнате или только приснились. Так что все ваши экзотические навары можно осуществить в домашних условиях". Налитухин поставил от возмущения чемодан на стол, и стол покачнулся:

"Но зато травка, которую я в Казахстане искал, после нее, как тот гад мне врал, я его еще найду, этого гада, но факт, что существует такая травка, после которой можно сидеть в Москве, а видеть вокруг сплошной бананово-лимонный Сингапур!"

"Возможно, но для этого надо иметь понятие о Сингапуре.

А ты накорми гашишем вон того алкаша, так он что с бутылки водки, что с морфия будет кричать одно и то же: "мать моя родина, я большевик!"

"Ты не понимаешь", не унимался Налитухин, "эта такая травка, которая может разрешать твою экзистенцию! То есть, если человек нерешительный, ну вот как я, и не может решение принять, то после этой травки он всю свою экзистенцию может как на заборе прочесть!"

"А как эта ваша травка действует?" не унимался Четверган. "Вот если человек наелся этой вашей травки, и уже может все решения принять, сможет ли он эти решения не осуществлять? То есть, он сначала колебался, потом напился этой травой, и уже не колеблется — так вот: может ли он вернуться к нормальному человеческому состоянию колебания и нерешительности? Или же он сразу начинает действовать очертя голову, вместо того, чтобы идти спать и разговаривать во сне с теми, с кем нет никакого желания говорить в натуре?"

"Вот я всегда говорил, что при Сталине легче было", разозлился Налитухин, "потому что при Сталине всех насковзь было видно. А теперь тут, как я погляжу, появились такие новейшие поколения с партийной аморфностью, что пойдешь пойми их: то ли ты их подловил на слове, то ли они тебя держат на крючке. Глаза у тебя хорошие, а улыбка нахальная. Ты разговариваешь, как гад, из-за которого я в Казахстан вляпался. Если я его найду, а я его достану, он у меня травку эту пожует. И он у меня десятью годами заговорит. Я его заставлю из этого котла есть", и, раскрыв чемодан, Налитухин вытащил из него огромный чугунный котел и грохнул его на стол. Покатились бутылки. "Я с этим котлом весь Казахстан прошел. На плечах его таскал, все травку эту искал, чтоб сварить ее и голоса услышать. По всем колхозам прошел, по всем деревням. А все потому, что поверил этому гаду. Я с ним здесь и познакомился. И он мне клялся, что в Казахстане эти травки выращивают, в деревнях, и если правильно по рецепту сварить, такой кайф ловишь. И я, дурак, поверил. Котел купил, на плечи его повесил, и в Казахстан. А там жарища, глина потрескалась везде, везде сплошные овцы, и вместо травы одни колючки. И все шел я с этим котлом, а он

чугунный, мне этот гад сказал, что обязательно из чугуна котел должен быть. И добрался я до деревни на краю Казахстана, и все у местных тубетеек выспрашиваю про травку. И наконец дали они мне разных колючек, и я в степи развел костер и всю ночь эти колючки варил, а потом напился этого навару, у меня глаза на лоб полезли, и думал, что помру, но голосов не слышал, а только заснул в каком-то бреде. А на утро просыпаюсь, стоит надо мной председатель колхоза в тубетейке и говорит, что он дает мне колхозного козла, чтоб я отсюда до станции поскорей умотал, потому что сейчас придут на место пограничники меня хватать. Я спрашиваю: за что? А он говорит: потому что сначала они думали, что я ревизор, а потом решили, что все-таки шпион. Но все-таки он думает, что я ревизор, и поэтому мне козла дает, в смысле машину колхозную, газик, чтобы меня выручить, потому что если я даже и ревизор, все равно в шпионы запишут, если схватят. И так я в Москву и вернулся. И теперь с этим котлом не расстаюсь: вот доберусь до этого гада, который мне про казахстанскую травку наврал, и он у меня этой травки из этого котла поест, я целый мешок с собой привез этих колючек. И вот на тебе: я справки навел — он оказывается в Русалим уехал".

"В Новый Иерусалим?" спросил Четверган.

"Да нет, в тот Русалим, настоящий, где Гроб Господень".

"Теперь видал ты его в гробу", сострил аптекарь.

"Я воскресения мертвых ждать не намерен: пускай он по живому следу пройдет мой путь за пядью пядь", и Налитухин, встав на стул, поднял котел и ударил по нему, как по колоколу, бутылкой, и чугунный гул дошел, наверное, до Иерусалима, потому что со всех концов поскакали с мест и бросились к столику. "Я обращаюсь ко всем тунеядцам моей родины, уклонявшимся от права на труд в поте лица своего. Я обращаюсь к вам, друзья мои, не знающим, что такое дружба, всю жизнь просидев в заведении "Дружба". Я обращаюсь ко всем, кто сидит там, сам не зная где. Я обращаюсь к тем, кто не значит что. К вам обращаюсь я. Обращаюсь я к тем, кто не тот, и такой, кто не так. Обращаюсь ко всем тем, кто выдает себя за того, кем никогда не хотел быть. К вам обращаюсь я,

кому есть чего терять, кроме своих цепей. Я обращаюсь к тем, кто здесь как пустынножитель или пришедший в отшельническое братство, но как переселенец, а не как беглец, и кто, тем самым, не вполне отшельник, не в совершенстве пустынножитель. Поднимайтесь, все фальшивые бездельники и усердные тунеядцы: я зову вас в новый святой поход на город Русалим. Я прошел все дороги и везде меня принимали или за ревизора или за шпиона. От морозов ручья Безолаберного до глиняных пустынь Джебгасгана. И вот Машка выгнала меня за порог своего дома, и мне негде приклонить голову. И я отправился искать тайного зелья вдаль от русских мест. Кто меня подловил в состоянии растерянности, и отправил странствовать по глиняным пустыням Казахстана с чугунным котлом на плечах в поисках фиктивного утешения тайным зельем? Тот, кто сейчас по рюмочке стучит в единственном на свете городе, что существует для тех, кто не есть тот, кем он является на деле. И в этом городе не знают, что этот злоумышленник сплавил меня с чугунным котлом искать фальшивого утешения, которого нет там, куда он меня отправил, а сам скрылся в святом городе Русалиме, который он оскверняет своим фальшивым присутствием. Так поднимемся со своих пустых стульев и двинемся пешкодралом на город Русалим, все бездельники и тунеядцы, кто давно ходит на голове и топчет небо ногами. Ничего нам на свете не осталось, как вооружиться моей героической идеей и перейти через Иордан, минуя колючую проволоку толпой безоружных тунеядцев. И войдем мы в святой город Русалим без единого выстрела, потому как кто с нами будет сражаться, если мы без оружия и нас тьма тьмущая, как китайцев? Только там, в святой земле, истинная травка утешения, и каждый напьется ею и обнажится и забудет свою наготу и неприкаянность. А шарлатан и подлец, который уговорил меня с чугунным котлом искать эту траву в Казахстане, а не в истинном месте, этот гад сядет у нас на глазах перед чугунным котлом и будет жрать казахстанскую колючку!"

"Яко по суху! яко по суху!" стали раздаваться нечленораздельные крики новообращенных, скрестивших стаканы с солнцедаром. "По дороге же на нашем святом пути", продол-

жал Налитухин на хрипе, "к нам приобщатся все те, кто не есть, и будет нас тьма тьмушая, как китайцев, но с доброй волей, и, затопив святую землю нашей доброй волей, мы прекратим тем самым палестинский конфликт, и мечи перекуем в чугунные котлы", и Налитухин еще раз ударил в чугунный колокол котла.

И вдруг, в наступившей тишине, чей-то голос болезненно вскрикнул: "Маша!" И как ветерок прошелестело с уст на уста: "Маша-шама-шама-ша-ша". Все прямо так и ахнули, когда она вошла, и Налитухин уронил чугунный котел. Котел зазвенел колокольным звоном и покатился к ее ногам, повернулся два раза у ее ног, покачался на донышке и замер. Четверган, оглушенный вначале налитухинскими призывами, где загадочная абракадабра была нафарширована таким отчаянным призывом к "тем, кто есть не тот, кто тот", за которыми звенел иерусалимский рог, что весь этот макабрический монолог, несмотря на свою бессмысленность, почему-то звал вперед, сидел вместе с другими оглушенный, вжаты в стул, прижатый к стене, когда Маша, совсем без спутников, одна, качаясь на высоких каблуках, медленно прошла меж пьяными и села напротив Уолтера Митти, расправив синтетическую шубку. Он вжался в угол, затаив дыхание от ее прямого взгляда, потому что именно на него она глядела, а он глядел в пространство. И сначала он не слышал, что она сказала, тряхнув черной челкою, а только заметил, что она слегка заикается, и от этого быстро говорит, чтобы скрыть заикание, или же наоборот, говорит она быстро, с выговором городских окраин, а заикается, для того чтоб скрыть этот просторечивый выговор. На них наставлены были взгляды, как ножи, когда она, вздрогнув плечиком, вдруг сказала в эту наполненную ожиданием паузу:

"Как хорошо тут у вас, мальчики".

И сразу же началось движение, и все засуетились, и появились новые бутылки, и подходили и целовали ей ручку, и она шурилась и вспоминала, а потом, в конце концов, узнавала и визжала от радости, что узнала старого знакомого, и тот от радости бежал за новой бутылкой, и пустые бутылки складывались в чемодан, чтобы сдать их на утро и приобрести

новые бутылки, и так до бесконечности, когда из передней залы на ступеньках появилась крашеная химическая блондинка и зычно крикнула:

"Машка, стерва, ты ж сказала на минутку, клиент ждет, а ты тут баланду травишь, балаган ломаешь".

Но Маша крикнула ей, что пускай этот клиент, то есть эта мужская морда лица, катится куда подальше, потому что она хочет посидеть с мальчиками, что она заработала свой досуг своим передком через пятилетнюю неустанную самоотдачу от "Метрополя" до "Националя", но начала она с "Дружбы" и дружба ей дороже, а не шумиха и успех. И не Нинке-блондинке, которая ходит притчей на устах у всех, указывать ей, Машке, где баланду травить и какой балаган ломать. Вокруг все слушали, затаив дыхание, а Маша, заложив ногу на ногу, говорила:

"Тут все свои, мне стесняться нечего. Нинка-блондинка мне клиента нашла. Умный такой человечек. Симпатичный такой кретинчик. Восточный человек, но какой мне с него толк? В "Национале" коньяк брать отказался, он что — жмот? Идиотизм, говорит, в "Национале" коньяк брать, когда у меня магазин "Российские вина" в полном распоряжении. Что же мы в подъезде будем распивать? А к нему ехать на дом, не на ту напал! Хотела у него десятку стрелнуть, а он говорит: давай я тебе вместо этого на международный женский день подарю язычок для обуви. Такая палка, на одном конце язычок туфлю надевать, а на другом конце голова Нефертити. Туфли надевать, держась за голову Нефертити — ну скажи, не дурак?"

"Дурак!" хором подтвердили все, хотя смотрела она только на Четвергана.

"А мне Нинка-блондинка всю плешь проела: не упусти, да не упусти. Было б за что хвататься. Но я с Нинкой-блондинкой не могу разговаривать. Я когда с такими бабами, я всегда чувствую, что говорю не своим голосом. Как будто не я говорю, а кто-то другой. У меня вообще последнее время пропал собственный голос. Я столько от таких наслушалась, что уже забыла, как я сама говорю. Это точно, что женщина всегда повторяет слова и голос собственного мужика. Вот

Нинка-блондинка костит всех налево и направо: пошлаки, мол, грязные людишки. А я тебе скажу точно: это мысли ее хахеля. И, конечно, приплетается и то, что в "Дружбе" ее так никто и не охмурил, была тут белая ворона. При этом мне смешно слушать ее наивные наставления: Налитухин, мол, такой сякой, использует и бросит. Уж чья бы корова мычала, я что — девочка? Я Налитухина выгнала, я Налитухина и верну, правильно я говорю, Налитухин?" Налитухин молча плакал, стоя на коленях у ее колен. "И не ей вообще долдонить насчет верности, а уж насчет разборчивости, они меня с ее хахелем просто смешат: да ему, с его погремушками рассуждать про разборчивость. И не ей, с ее "запасным" мужем толковать про порядочность. Но вот что я точно поняла: когда твоя подруга начинает тебе исповедоваться, смешивая с грязью своего мужа, ни в коем случае нельзя с ней соглашаться. Надо наоборот с рвением опровергать каждое обвинение, а потом не выдержать и сказать: "Ну разводишься, милочка, разводишься", а потом помолчать и спросить: "но только зачем тебе разводиться?" А Нинка-блондинка сейчас жутко нервничает: она же все больше специалистка по бывшим мужьям своих настоящих подруг или наоборот по настоящим мужьям своих бывших подруг, а теперь у нее тупик: переспала все связи. А у нее еще разные загибы: она взяла и своему любовнику пожаловалась на беременность от своего мужа, и говорит: "А что же, я же замужняя женщина, что уж и про беременность хахелю нельзя сказать — что он ребенок, что ли?" Причем эта скандальность, способность по любому поводу скандально визжать, меня просто передернуло, я просто стояла и краснела, ну прямо контролерша в электричке. И потом она странная баба: встречается в мужской разговор. Вот я всегда сижу помалкиваю. А она во всякий разговор к бочке затычка. Спрашиваешь одного, а отвечает она, я один раз не выдержала и прямо так и сказала: "Я же не тебя спрашиваю". Хотя всякий мужчина достоин той женщины, с которой живет. Женщина — разоблачающая вещь. Нинка-блондинка мне все уши прожужжала, причем с таким раздражением: все подонки, дермушники, эти ничтожества, и как это мне не надоело возвращаться в этом дерьме,

вся эта грязь, вся эта мразь. Но простите, пожалуйста, кто из нас в проруби болтается — я или она? Причем меня поразила огульность. И главное, на меня переносит свое раздражение от других. Если она про них так, что же она про меня, когда меня нет поблизости? Ей невыносима мещанская сущность и обывательское благополучие? Но именно она-то всем этим и жила. То есть, может это все и правильно, но она все валит в одну кучу, и все пытается меня отгородить от притязаний нашего общего знакомого. Она говорит: я втягиваюсь, а надо общаться только со светлыми личностями. Под светлыми личностями она понимает, по ее словам, людей творчества. Которые занимаются творчеством, а жизнь для них только материал. И которые ни о чем, кроме как о творчестве, не думают. Причем не те люди творчества, которые все время скулят и ноют, а которые творят, сжав зубы, и не участвуют во всем этом дерьме. И что надо такого человека найти и положить жизнь на то, чтобы создать ему условия. Причем, он, может, и не будет тебя любить, но важно, чтобы он был великим человеком, а ты была б ему опорой. Я ее спрашиваю: а как же ты узнаешь, великий он или не великий? Ты хочешь выносить горшок за великим человеком, а потом музей организовать? А если ты помрешь раньше его, вынося ночные горшки эти? Ты же тогда не узнаешь, великий он был или не великий. Значит тебе нужен такой человек, о котором уже известно, что он великий человек. И чтобы она тенью была у него за спиной, а потом стала духовной наследницей. Вот только один вопрос ее мучает: а если она, действительно, помрет раньше него, вынося эти горшки. И я ей сказала, что вместо этого выпендрежа, встретила бы одного несчастного и помогла бы ему провести вечер, чтобы он сам не заметил, как вечер прошел. Ну что, косенький, плохо тебе?" наклонилась она к Четвергану.

Плохо было, может, Четвергану, но никак не Нагревтечу. Чем меньше он понимал, про кого идет речь, тем легче было относиться к тому, что происходит, как к тому, что никогда не произойдет. Нинка-блондинка в этом абстрактном вслушивании в чужое щебетанье напротив превращалась в Россию, потом поворачивалась другим боком и оказывалась святым

городом Русалимом. Иногда ему казалось, что говорят про него, но при следующем глотке солнцедара оказывалось, что речь идет опять про эту Нинку-блондинку. Потом он разгадал, что Маша просто заполняет воющую тишину первыми попавшимися словами, чтобы не было тягостно от налиутухинского преклонения и потных взглядов старых обожателей. И главное, что глядела она на него, может, и еще в пространство, но ни на кого другого больше, или на него или в пространство, а он глядел или в пространство или на нее, и больше ни на кого. У нее не было зеркальца, и она то и дело поправляла прическу часто и неуверенно. И челка то распадалась на ниточки, то ложилась густой скобкой, и когда челка распадалась на ниточки-соломинки, глаза становились сожженными и выплаканными. Как будто знающими, что это налиутухинское преклонение дружбы в кавычках только на этот один вечер, когда всем требуется существо перед которым нужно в ноженьки клониться и поверить в очарованность свою, а завтра будет не так как вчера, а как позавчера, когда еще шел колючий снег, и Ее Величество никто не ждал в городе Фридрихсгаме. Но Четверган сказал Маше, что ей нечего беспокоиться за свою прическу, даже если нет зеркала, потому что ее прическа в полном ажуре и вообще все в полном ажуре и никто давно ничего не помнит, и что взгляд важнее слов, тем более когда язык не ворочается, и что этот взгляд может подтвердить, что ее прическа — лучшая из причесок, даже если этого невозможно доказать при отсутствии зеркала.

"Если жидкие волосы", сказала Маша, "лучше носить шиньон. Хотя, в сущности, приставная коса это тоже вполне прилично. Но некоторые не одобряют такие вещи: один день ходишь с длинным хвостом, а назавтра появляешься на работе, а на голове одни ошметки, потому что косу в стирку отдала. Шиньон с пучком на затылке гораздо вернее. Это мне моя парикмахерша так советует. А у меня одна знакомая, из москонцерта, носит парик: как волосы грязные — она сразу парик. Правда, она один день получается рыжая, а назавтра — блондинка. С другой стороны, уж если решилась на парик, какой же интерес парик такой же, как твои собственные? Но на хороший парик, знаешь, сколько башлей нужно? И по-

том сложности с мужем. Нинка-блондинка обожает шиньон, а ее муж приставных волос терпеть не может, потому что творческая личность. У него самого волосы — ну прямо парик и все тут, и он не может взять в ум, как это так — парик! Хотя у них, у ребенка, на голове просто жидюльки, а не волосы, и непонятно в кого, наверное все-таки в Нинку-блондинку. Хотя это почти у всех детей сначала, а потом вырастает стог на голове. А у Нинки-блондинки был такой начес, ей везде приходилось появляться со своими редикюльками. Но все-таки это лучше, чем "вшивый домик", так волос стружился, ужасная была мода. Или еще когда банку надо было подкладывать для пучка, брали консервную банку и подкладывали, чтобы пучок держался. Но я со своим опытом точно скажу: все зависит, какая у тебя парикмахерша. У меня с парикмахершей идеальные отношения: она думает, что я из дипломатических кругов, что я вращаюсь в высших сферах, и в Москве появляюсь лишь на недельку, у нее прическу сделать, а так все по заграницам шастаю. И она очень гордится, что у нее такой важный клиент. Вчера, к примеру, я брякнула, что только что из Уганды. Пришлось нести всякую чушь про Африку. Сказала, что там у каждого в доме домашняя кобра. Хотела присесть под кустом, а мне кричат: "кобра! кобра!" Оказывается, они держат домашнюю кобру как кошку против мышей, но только там вместо мышей ядовитые такие гадины, минутки называются. Но если в доме кобра, никакая минутка к дому не приблизится. Впрочем, сказала, у моего мужа там были свои дела, намекнула на секретную миссию. Мы к посольству не имели отношения, мы там были инкогнито, приходилось торчать на пляже. И никакого общества. У нас, говорю, были особые контакты, ни с кем не встречались. Ну, вечером, конечно, в отеле, за барной стойкой, перекинешься светским разговором. В отеле было порядочно всяких иностранцев, но все больше скандинавы, у них сухой закон, они к нам в Ленинград поддавать ездят. И еще в Африку. Из женского общества всякие светские старухи шамкают, они мощну набили и по африканским курортам. Но в Африке хоть с тряпками нет проблемы, поносишь и выкинешь. Но, кстати, очень грязно. Такой,

знаете, грязный паркет, я вообще удивляюсь, подметают ли они вообще? А француз никогда обедом не накормит, только глушит свое бордо, надсаживая грудь. В автобусе могут за задницу ущипнуть, но даже если это его официальная любовница, никогда домой не приведет, а тащит в номер. А англичане наоборот: к ним на улице не подступить, а вот ключи от квартиры всем друзьям дают. А француз на чашку кофе пригласит, и счет пополам. А вот испанцы, они как русские, все по ночам гуляют. И американцы тоже, хотя у них вместо водки, мар Ивановна, марихуана, пардон. Я вообще собиралась арабские шторки купить, с цветочками, но мои друзья, сказала я парикмахерше, они не любят, когда выпендриваются. Сейчас это так модно, арабские с цветочками, но мода пройдет, а они в глаза прямо бросаются, мои друзья, солидные люди, скажут: чего выпендриваешься? А мне с ними ссориться неинтересно. Куплю что-нибудь нейтральное, светленькое. Конечно, в Африке все несутся в Каир за тряпками. Но я в тряпках не нуждаюсь, а так, иду по загранице и иногда куплю чего, если приглянется. Так, разве что махну в Судан, там после англичан теперь все английское. Или Нигерия. Там, правда, все надо кипяченое, иначе из уборной не выйдешь. А местные, они джин глушат с утра до вечера для дезинфекции желудка. У меня после Африки ногти стали обламываться, но я думаю, это от природы, и лучше обрезать сразу, чтоб не загибались. Я от этой парикмахерши сама устала, столько врать приходится. И как это все далеко: Каир, Судан, и выпить нечего! ну что же ты такой грустный, как тебя звать, не знаю".

И непонятно было, плачет она или пьяна, но Четверган Ветрогон сказал, что с ее стороны это подвиг, что она предпочла всей этой Африке вот этот вот трак-трак-так-тир с грязнотцой, а не шикарный ужин в "Метрополе", и здесь не бог весть какие люди, но они пойдут за ней даже в Иерусалим. И Маша сказала, что у нее складывается положительное впечатление от его благородного выпендрежа и что она с удовольствием продолжит с ним знакомство вплоть до других широт, а здесь ей узко и нечем дышать. И тут очнулся Налитухин и сказал, что перед тем, как отправиться в святой

поход на город Русалим, они должны выпить ящик пива, который он припас с дневной вахты, будучи сторожем-охранником кинотеатра "Россия". И что есть полный резон сначала выйти в святой поход на кинотеатр "Россия", от которой у него есть ключи, и он там ночью полный хозяин как сторож-охранник. И они выкатились толпой человек в двадцать наружу.

Сколько метров от "Дружбы" до "России" в кавычках? Пройти насквозь пролет Кузнецкого моста и, миновав барельеф пловца, над которым кружат каменные чайки, завернуть направо, и по прямой идти на памятник Пушкину. Еще твоя походка нам не была смешна, еще подметки не поотрывались. Еще никто не искал выхода из тупика, и каждый втайне знал, что покуда ночка длится, покуда бричка катит, нам этого маршрута на десять жизней хватит. И пиджак никто не перешивал и не пытался вылезти из собственной шкуры. Пускай безумный наш султан грозит нам дальнею дорогой: когда кругом темно, светлей твое окно. И из этих, оставшихся светлыми окон, когда Москва, как река затихает, слышался приглушенный шторами гитарный голос, и это значило, что в доме есть магнитофон. Над головой случайного прохожего крутилась коричневая лента, и он не знал, откуда это с неба повторяются подхваченные с его губ слова, которые он потом, уже давно миновав и то окно и тот переулок, сам повторял: услышанные сверху слова, как будто давно заученные, уже однажды им самим сказанные, но забытые и, как эхо, вернувшиеся к нему. Чего не потеряешь, того, брат, не найдешь: ту самую главную песенку, которую спеть ты не смог. Мы начали прогулку с московского двора, к нему-то все, наверно, и вернется. Может, вы дом перепутали, улицу, город и век? Через Фридрихсгам и Йошкаралаим, в кресле на колесиках, они двигались по отшумевшей Москве к "России" в кавычках. Не закрывайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта.

Налитухин, до этого бывший чугунный котел, выступая впереди, успел еще раз произнести с пьедестала памятника Пушкину свой призыв к святому походу на город Русалим и огромными сторожевыми ключами отомкнул гигантские

двери "России" из прозрачного, но бронированного стекла. И запел арию Ивана Сусанина из одноименной оперы. И вся компания с чугунным котлом, с недопитыми бутылками, с Машей, с криками, разлетелась по полутемным залам, и по зимнему саду, и по залу кинохроники, не забывая о банкетном зале для дирекции, о котором простой зритель и не догадывался, а какие там были кресла, и даже миниатюрный фонтан. И щелкнули выключатели, но как всегда перепутали с выключателями, и поэтому из слепящего неоновом света над буфетом ты попадад в потемки зимнего сада, а из него в римский форум гигантской чаши пустого зрительного зала. И все это быстро наполнилось голосами, криками, хохотом, и звоном, и шепотом, и щебетаньем, и странным журчаньем фонтана. Обещанный налитухинский ящик пива никак не мог кончиться, и казалось, что стены уже качаются, или нет их вообще, а только огромный стеклянный самолет летит над белой пустыней. "Снег, снег!" закричала Маша, и не веря своим косым глазам, еще утром жадно ловившим явные намеки клейких листочков, Четверган увидел косые белые хлопья, летящие как всегда будто против ветра. Начиная буран. Уже непонятно было, то ли вокруг ходят пьяные люди, размахивая руками и бутылками, то ли ты пьян настолько, что принимаешь свое отражение в черных окнах за собутыльников, тем самым, полностью погружаясь в расцвет символизма с двойниками и прекрасными дамами.

"У тебя взгляд полоумный, а иногда ты тупо уставишься в одну точку, а женщину это сильно отпугивает", слушал Четверган последние членораздельные указания Маши. "Такой взгляд лишает притягательности. Вот Налитухин, когда со мной говорит, неважно про что, но в нем есть такая грубая интимность, он своим взглядом просто обкручивает. А ты сразу и с женщиной разговариваешь и о своем думаешь, и от этого ни одна женщина тебе не поверит, даже если у тебя прямые намерения, но при таком взгляде разве угадаешь? А ну-ка, примерь!" и тут произошло уж совсем нечто непредвиденное, потому что Маша потянула себя за волосы около ушей, и под растрепанной жгучей челкой оказалась бело-брысая мальчишеская стрижка. И, не дав раскрыть рта, она

надела на Четвергана свой черный парик, и тут же покатила со смеху, сложив ладони между колен, как первоклассница. И Налитухин, глянув пророческим взглядом на диониссированного Четвергана, упал, накрывшись котлом, и больше Четверган не помнил его встающим. С этого момента вообще трудно было что-нибудь вспомнить, потому что парик стал ходить по кругу, и лица, до этого уже ставшие знакомыми, вдруг перемещались, ускользали, щетина с женским париком превращала алкаша в теолога, а мальчик в очках превращался в разбитную старуху. Слезливые ужимки становились под париком патетическими жестами, а пьяный смех пророческими гримасами. И уже невозможно было сказать, кто есть кто, когда кто-то включил радиоузел и из репродукторов полилось разухабистым фокстротом: "утро красит нежным светом стены древнего кремля". И в зеркальном буфетном зале, через которые стали летать снежки из неожиданно свалившегося в разгар весны снега. Маша в черном трико танцевала на столе под единственным зажженным плафоном, потому что остальные уже успели выключить, и в темноте смешки и звон разбитых бутылок и неприличные взвизги и журчание фонтана. И Четверган забыл, где он находится, и забыл, что это всего лишь кинотеатр, и кавычки куда-то делись, и дача осталась позади, и ясно было, что делать и кто виноват, и Маша летала по столу; и холодок бежал за ворот, и шум становился сильнее. И к Маше присоединилась еще одна фигурка, может, это и была Нинка-блондинка, и они поворачивались резко и менялись местами так, что в конце концов, невозможно было сказать, кого на каком месте в данный момент видишь. И одна подымала руки вверх, расставив локти и заломив руки на затылке, и живот втягивался под майкой, а она была такая худая, что казалось, хочет сама себя проглотить, а вокруг нее, то ли Нины, то ли Маши, ходила Маша-Нина на цыпочках, по-звериному, и мелькала мальчишеская бело-брысая челка с выжженной пропастью глаз, и улыбка блуждала у нее на губах, и глаза были как две черные бабочки, и от этой черной бабочки и охотника с сачком хотелось отвернуть взгляд, потому что было ясно, что между ними происходит нечто, чего нельзя

знать постороннему. Потом погасла последняя лампочка, и, как потом вспоминал Четверган, его взяли за руку и лица он не видел, и только белел экран впереди, и они пробирались по гигантскому амфитеатру "России", а потом была ванная с фонтаном, или сначала была ванная, а потом амфитеатр, и он не видел лица, но знал, что это Маша. Или Нина? И на ком был парик: на нем или на ней?

Все вышло правильно, как ни переиначивай. Как будто перескок в другую сторону. Не опрометчиво и не ребячливо. Исчезли все намеки и экивоки.

...И вдруг дочь Едома, обитательница земли Уц спросила: "Как думаешь, что неприличнее: целовать в губы или в ухо?" И Четверган, не соображая, ответил: "Самое неприличное — это варить чай в кофеварке". И он вздрогнул от звука ее знакомого голоса, а она вздрогнула от знакомого голоса Четвергана. И он снял с нее парик, но в темноте не видно было лица. Как он добрался до дачи, он не помнил.

Я шел домой сквозь снег мимо "России", проходя стороной, как проходит косой снег. Первый снег всегда напоминание о том, чего никогда не было, но постоянно заново придумывается. Первый снег — это напоминание, как обиды вольный разговор. Первый снег — это напоминание о дружбе, как о никем не навязанной солидарности. Первый снег похож на разорванные мелкие клочки письма, которые никак не может написать нам тот, который всегда выше, и у него каждый раз не получается, и он рвет эти эпистолярные попытки на мелкие кусочки и швыряет их из своего окна. Таков первый снег. Но снег, который падал той весенней ночью, когда я возвращался домой мимо "России", был не первым снегом. Это был последний снег. Он падал неуклюже, он был непрерывным нелепым падением, когда понимаешь, что не надо делать этого нелепого и лживого жеста, а тем не менее делаешь этот изломанный жест, заявляя о своей преданности тому, что прошло, и уже давно этому не веришь, и тем не менее заверяешь, чтобы не обидеть, чтобы выглядеть тем же в чужих глазах. И я чуть не споткнулся о Четвергана. Он сидел, держась за разбитую голову, на тротуаре, и на го-

лове у него не было шапки, а у виска была кровь. Снег подтаивал у его ног, и в этом снегу, похожем на тополиный пух, не было ни чистоты, ни злости поземки: он превращался в слякоть. Перед Четверганом стоял рыжий человек в козлиной шапке с раскосыми татарскими глазами.

"Осень несестная драка", по-китайски сюсюкал встречный. "Я все видел. И шапку сорвали с головы, без шапки голове смерть. Не всякому в руки даются муки", и он ткнул пальцем вверх, откуда валил снег. "Человеческий порядок без оглядок: без поддержки одни издержки. Так мы и все рискуем со временем оказаться с разбитыми черепами от рук опустошенных молодых людей под модами где-либо на площади или метаться в сумасшедшем доме при лишенности сознания и всех чувств человеческих. Любой беде быть в узде! У вас рублика не найдется? Для закона сохранения энергии? А я вам фото на память" и, не дождавшись ответа, он выхватил из-под полы пальто фотоаппарат со вспышкой и ослепил их на секунду с залихватской умелостью иностранного корреспондента. "Вот у меня в чемодане все знаменитости на фото. А проявить денег нет. Не дадите рублик на проявку?"

"Я его знаю, это Захар Баязитов А.А.", простонал Четверган заплетающимся языком, когда я поднял его с асфальта и повел по заснеженной тающей улице. "Если Захар Баязитов нас щелкнул, значит, мы прославились. Он автор изречений, пословиц и поговорок глазами вечности, не читал? Как я на четвереньках очутился? У этого Захара такая система: он от главы правительства до кинозвезды при каждом удобном случае всех фотографирует, а потом это фото пытается всучить прототипу. Ты еще о нем услышишь. Кто же меня по голове ударил? И за что? И где Налитухин? Скажи, куда неприличнее целовать — в ухо или в губы?"

Мы шли сквозь снег, и снег падал неуклюже и бессвязно, точно так же, как речь Четвергана, мы шли, а снег падал и на темное здание кинотеатра "Россия", и на кофеварку при гостинице "Москва", и на кресло, стоящее на Преображенке, и на кресло на колесиках, стоящее на улице Таити, которого еще не существовало, но к которому мы двигались сквозь этот снег к себе от себя.

10

Обратная дорога с аэродрома через Главпочтамт на улицу Таити напоминала шпаргалку, подброшенную тогда, когда экзамен уже провален. Почтмейстер на Главпочтамте с высокими дверьми долго мусолил извещение на посылку, которое смялось и истрепалось, забытое на время тамаевских проводов в кармане пиджака, вместе с крошками табака. Потом стал лазить по лестницам и шарить по полкам, сверяя номера бандеролей с индексом на извещении. Именно почтамты в самой свободной в мире стране работают в тоталитарном бюрократическом режиме: потому что здешний приличный человек почту получает на дому, а на почтамты ходят всякие беспризорные и бездомные, и тут уж почтмейстер становится и судьей и богом и с тобой не считается. Тут стояли в очереди, и толкались локтями, и утверждали, что "вы за мной стояли, а передо мной были не вы, а тот в шляпе, который пошел за молоком". Короче говоря, Главпочтамт в центре Иерусалима напоминал продмаг на Преображенке в Москве, и спешить тоже было некуда. Четверган соскучившимся невыспавшимся раскосым взглядом машинально разглядывал уже успевшую надоесть за месяц хождения и разглядывания роспись на стене, где скакал человек на коне и перед конем бежали восторженные массы, как будто выбитые из-под земли копытом коня, а из головы человека дымом клубились лица без ног и рук, лица страждущих, жаждущих и алчущих, но уже неспособных бежать впереди коня. Мой конь притомился. Стопнулись мои башмаки. Получив наконец почтовый сверток в жесткой коричневой советской бумаге, пахнущей цензурой и сургучными печатями, он, по местной вездливой привычке, слегка повертел его, с нелепой осторожностью: "А вдруг бомба?" Но это была не бомба: это был будильник, подарок Нины ко дню рождения. Будильник был похож на светильник разными пластмассовыми нахлобучками, и Четверган тут же завел бой, подводя соответствующие стрелки, и будильник, как ни странно, зазвенел на всю большую залу, и даже послышались возмущенные крики, принявшие звон будильника за звонок к закрытию. Бди и жди. Будильник девать было некуда, и он снова завернул его в ту же

оберточную бумагу с четырьмя марками "Возвращение блудного сына" с картины Рембрандта.

Подходя к автобусной остановке напротив почтамта, он наткнулся на нищего слепого, задравшего глаза в белесый жар неба, с военным ремнем, на котором висела палка и с консервной жестянкой, в которой гремела мелочь. Четверган кинул целую лиру в банку, поскольку нищий проживал в тамаевском доме, и эта монетка прозвучала в жестянке как поминки по Тамаеву. Потом он отошел от нищего и стал ждать автобуса в направлении улицы Таити. Автобуса долго не было, и он стал прохаживаться рядом со столбиком с номером автобуса. Тут и началось: как только слепой слышал шаркающие шаги Четвергана, он наклонял голову набок, а потом устремлялся к нему, гремя жестянкой. Четверган пробовал не двигаться, застыв у столбика остановки, но потом больная спина не выдерживала, он должен был пройти несколько шагов, чтобы размять спину, или присесть на краешек фундамента у входа в Главпочтамт, короче говоря, изменить положение, но как только он менял положение, лицо нищего, задравшего к небу слепые щелки, снова появлялось перед ним, гремя жестянкой. Четверган стал чувствовать себя как в западне. Этот процесс напоминал кошку, к хвосту которой привязали консервную банку: банка гремит, кошка бежит, чем быстрее она бежит, тем сильнее гремит банка. Он стал подозревать слепого нищего в намеренном шантаже: если он слепой, у него должен быть острейший слух, он должен угадывать звук шагов на расстоянии, он должен был во второй же раз понять, что это те же шаги, шаги Четвергана, слегка прихрамывающие на одну ногу. Но нищий был упорен. С тоской Четверган застыл у автобусного столбика, и солнце, перешедшее на другую сторону тротуара, стало палить нещадно. Когда он, забывшись, чиркнул спичкой, чтобы закурить сигарету, и тут же, услышав активный звон жестянки, застыл, и когда потное слепое лицо снова стало надвигаться, он не выдержал и спросил: "Что вы от меня хотите? Зачем вы меня преследуете? Я же вас не преследую?" И тут же пожалел об этом. Слепой постоял как всегда в ожидающей неподвижности с протянутой жестянкой,

а потом, не дождавшись монетки, вернулся на свое место. Когда придвинулись к нему слепые глаза нищего, он сначала пытался высмотреть за складками век смеющиеся зрачки. Но потом об этом пожалел. Может быть, он глухой. Может быть, он не слышит шагов, а угадывает их: по движению воздуха? По неуловимому запаху пыли, поднятому подошвами? Может быть, поэтому он ничего и не ответил. Потому что не слышал.

Сейчас, сидя в кресле на колесиках перед окном, за которым снова стали слышаться его надрывные "ааа-уп!", Четверган догадался, что нищего у почтамта заинтриговало, наверное, загадочное тиканье нининого будильника. Может быть, нищий был просто напуган этим тиканьем, может, он был напуган тем, что рядом находится бомба, только непонятно где и в какую сторону бежать. Но тогда он до этого еще не догадался, он тогда до многого еще не догадывался, а просто не выдержал этого морального шантажа и зашагал вверх по улице, ведущей вниз, к следующей автобусной остановке. Он двигался сквозь надутый жарким воздухом промежуток между магазинчиками, лавками, прилавками и витринами, как будто не хамсин натянул свой раскаленный неподвижный зонт над крышами, а все эти люди и витрины и вывески так плотно надвинулись друг на друга, что каждый шаг давался лишь преодолением этого воздуха и крика и исписанных на домах слов. И эта толкучка воздуха и людей и вывесок как будто устраивала и тех и других, потому что кругом все улыбались и махали друг другу руками, и окликали, и кричали друг на друга, и предлагали, и брали. Через каждые два шага попадались прилавки с тысячевозможным набором солнечных очков, очки подмигивали мужчинам в летних панамках, напоминающих детские, буквы на вывесках бежали в двух направлениях — справа налево на языке библейских пастухов и слева направо то же самое в обратном направлении на языке викингов. В забегаловках крутилось мясо на штыках и шампурах, быстрые темные руки запихивали в лепешки из теста шарики из растертых зерен, как птица то и дело пролетало слово "пицца", и все это напоминало почтовую открытку, которую

вам показывает хороший знакомый и, заглядывая вам в глаза, спрашивает: нравится? "Идиот!" кричали с каждого угла мальчишки-газетчики, и это было не ругательство, а лишь название, по-русски означавшее "новости". Четверган шел, как всегда устремленно пригнувшись и прихрамывая, прижимая к груди будильник, и одновременно и видел все, и ничего не замечал, прикидывая машинально, можно ли из этого прохода по этой улице выклеить очередную открытку в Москву, и от того глаза его не подымались выше окон первого этажа. И только на перекрестке перед автобусной остановкой, когда пришлось поднять глаза к свету светофора, он увидел эту загадочную даму во всем совершенно белом, в доме на другой стороне улицы. И уличный шум выключился.

Это был манекен. Для него был устроен специальный застекленный балкончик на втором этаже неказистого дома с магазином мод внизу. Дом этот он каждый раз отмечал только потому, что рядом с ним стояло высокое дерево: не пожухлая и обвисшая от жары и уличной пыли сосна, а настоящее лиственное дерево с побелкой до половины ствола, как дачная яблоня, но выросшая до второго этажа с густой, не подчиняющейся местным обстоятельствам кроной. И только сейчас, остановившись под застекленным балкончиком, Четверган разглядел, что листва шелестела над головой чудесного манекена на балкончике. Манекен был дамой, изготовленной по старинке с обстоятельностью и наивностью. Все в ней было стильно и давно отжившим: и румянец щек, и подведенные глаза, и смущенная линия когда-то модных губ, и рука, застывшая в воздухе, как будто уронившая на тротуар платок, который никто не хочет поднять, потому что никто и не подозревает, что его обронила сверху оставшаяся в одиночестве манекенная незнакомка. И сейчас вид у нее был не только смущенный и обиженный, но и напуганный, поскольку одна половина, с головы до ног, была у нее совершенно голой, и гипс телесного цвета сиял на солнце сквозь стекло балкончика. С другой стороны на нее была накинута белая шелковая тряпка, и на голове раскачивалась свадебная вуаль, поскольку поставили ее не просто махать прохо-

жим ручкой, но и рекламировать свадебные наряды. И вот свадебное платье и пытался изобразить на ней приказчик в черном не по погоде пиджаке. Он излишне и неумело суетился на узкой площадке балкончика, и изо рта у него торчали булавки. Эти булавки он одну за другой втыкал в бок манекенной красавице, заворачивая белую шелковую тряпку вокруг ее блестящего тела в виде свадебного платья. Но булавки, видно, выпадали, и он нагибался, а пока он нагибался, распадались складки, он суетился и, видно по всему нервничал. И Четверган, среди шумного ада улицы, случайно стоя под деревом, наблюдал эту тайную свадебную церемонию, видимую только ему.

И тут случилось нечто непредвиденное. То ли задетая плечом приказчика, нагнувшегося за очередной булавкой, то ли притянутая взглядом Четвергана вниз, но манекенная незнакомка как будто шевельнула рукой, дотягиваясь до кроны дерева, и этот взмах не был виден никому, кроме Четвергана, и он впервые в жизни улыбнулся мальчишеской улыбкой, еще не сознавая, что произошло. И только после этой паузы с приветствием, с приветом, он увидел, что приказчик взмахнул руками, как будто пытаюсь удержать незнакомку, но споткнулся и откатился назад, а манекенная дама склонилась вперед, и тогда стало понятно, что она начала падать. Как загипнотизированный Четверган глядел на замедленную съемку падения, когда тяжелый гипсовый торс качнулся и, как будто распахивая окно, пробил стекло балкончика. Стекло сверкнуло снежными колючками и стало оседать радужными слоями, и в воздухе, как будто подвешенная за невидимые цирковые ниточки, повисла на мгновение в отчаянном жесте голая незнакомка, с рукой, протянутой в указательном приветствии, с рукой, указывающей вниз на Четвергана, с рукой, протянутой ему. Она летела на фоне небесной тверди, засветленной до черноты, с приоткрытыми губами и немигающими глазами, и ноги ее были вытянуты как перед прыжком в воду. Ослепленный облаком стеклянной пыли Четверган не мог сдвинуться с места, и этот падший ангел должен был свалиться именно на его голову, когда чья-то рука рванула его назад, и вместе с глухим взрывом

падения манекена, он услышал крик: "Берегись!"

Когда его подняли на ноги, вокруг стояла толпа любопытных, сжимавших кольцом исцарапанного Четвергана, а рядом, среди осколков стекла, валялись разбитые гипсовые ноги и руки. Уже кто-то успел приставить отколовшийся торс к краю фундамента, а из рук в руки передавали отбитую голову: вместо носа выщербленная ямка, губы искрошены, и только нелепо и жалко свисала чудом удержавшаяся свадебная марля. Четверган с содроганием оглядел это четвертование на шесть частей, вокруг которых всплескивал руками побледневший приказчик. Наверное, это можно склеить, если хороший клей суперцемент: щека Лейлы здесь, вуаль Фатимы там.

* * *

Когда Четверган приземлился на улице Таити, он решил сократить путь к дому и пересечь сад, тянувшийся вдоль серого одноэтажного здания. Калитка была всегда открыта, но он никогда не видел, чтоб жалюзи на окнах дома открывались. На этот раз ему было не до прикидываний и догадок, потому что казалось, что воздух щиплет кожу, и ты как будто растворяешься в обмороке этого вот-вот взлетающего воздушного шара и больше никогда не вернешься на землю. Жутко хотелось пить, или казалось, что хочется, и свет пронизывал до кости. Желание вонзить зубы во что-нибудь сочное и прохладное было нестерпимым, когда он вошел в этот сад. Деревья стояли оцепеневшие от зноя, с голыми ветками, но не по зимнему голыми, а обрушившими листву от невыносимого зноя, как будто хотели окончательно раздеться. С голых серых веток свисали похожие на лимоны плоды, все они были переспевшими, еле державшимися на каменноподобных ветках, пожухлыми, грязно-желтого цвета, и когда он, пересекая сад, случайно коснулся лицом свисающей груши плода, то инстинктивно отдернулся. Этот каменный сад перепробовал сто поколений. Но пересохшие губы не устояли перед жаждой, и он, оглянувшись, сорвал один из плодов, еле державшийся на толстенькой пересохшей ножке. Он мог бы поднять, никого не боясь, полусгнившие

плоды, валявшиеся на пыльной траве, но это было слишком унижительно, и он, оглянувшись, поскольку сад был хоть и заброшенный, но все же чужой, сорвал плод с ветки. И хотя хозяина у этого сада явно не было, он откусил прямо с кожурой от этого лимонovidного плода с испуганной поспешностью. И в этот момент дверь серого дома неожиданно распахнулась, и мужчина в черном пиджаке с полиэтиленовым мешком, стоя к нему спиной, стал запира́ть за собой дверь на замок. Четверган уже было решил, что он его не заметил, и независимым шагом двинулся к выходу, когда домовладелец, размахивая на ходу пустым полиэтиленовым мешком, обогнал его и бросил из-за спины с издевкой: "Напрасно вы эти лимоны едите, они отравленные. Их опрыскивали от насекомых, здесь вообще сильная инфекция в воздухе". Четверган поспешно выплюнул откушенный кусок плода. И даже отбросил его ногой в сторону. Потому что главное, что его заботило в этот момент, было не то, что плод отравлен, а то, чтобы сделать перед этим домовладельцем незаинтересованный вид и объяснить, что он не знал, что этот сад кому-то принадлежит, что вот он увидел заброшенный сад, плоды на земле валяются, ему страшно захотелось пить, вот он и сорвал один из никому не нужных пожухлых лимонов. Он, кстати, хотел бы узнать, это лимон или грейпфрут? Но потом ему показалось, что тот прекрасно все это понимает, но пользуется случаем поиздеваться, потому что объективно, с объективной точки зрения, он совершил кражу, и его можно обвинить в воровстве, хотя плодами можно отравиться, и именно этот факт домовладельцу особенно был интересен, Четверган был настолько смущен случившимся, что повернул не в ту сторону при выходе из сада и понял он это только тогда, когда ему пришлось выбираться на шоссе через настоящую помойку, и когда выбрался на ступеньки, ведущие к нижнему шоссе, долго пришлось топтать ногами об асфальт, чтобы стряхнуть налипшие колючки, мусор и пыль. Он не заметил, как у него оторвался ремешок от сандалии, и когда, не глядя, он вступил на шоссе, сандалия слетала с ноги. В этот момент его чуть не сбил промчавшийся автобус, потому что какое-то мгновение он не мог решить:

поднимать ли сандалию или бежать к тротуару?

Когда он добрался до подъезда, он уже не держался на ногах. В подъезде было темно темнотой китового желудка, и спина болела так, как будто он нес на своем горбу чугунный котел по казахстанской глиняной пустыне с свинцом в груди. Он прислонился к невидимой в темноте стене, оперевшись плечом. И вдруг стена поехала в сторону, рванулся вверх черный квадрат, и бетонный пол, встав на дыбы, больно придавил плечо. Очнувшись он через минуту, обнаружив себя лежащим у распахнутой двери, которая, видно, была незаперта, когда он, не заметив ее в темноте, оперся о нее плечом. Жалюзи в комнате были прикрыты не до конца, так что полоски света прорезали квадратное помещение аккуратным веером, который берёг уставшие от беспощадного солнца глаза и одновременно гнал прочь душную густую тьму подъезда. В комнате стояли лавки и ряды стульев, и все было бы похоже на бедную комнатуху для собраний комитета, если б не шкаф, на котором собирались и перекрещивались все солнечные веера, пробившиеся сквозь щели железных штор. Шкаф был со стеклянными дверцами и с выступающей вперед, наподобие бюро или пюпитра, наклоненной полочкой. На домашний буфет был похож этот шкаф. И за стеклянными дверцами Четверган увидел свитки: они были накручены на истершиеся лакированные ручки с двух сторон, похожие на веретена, и на это веретено были накручены слой за слоем нити строчек, столько там было слоев, что нити эти, просвечивая друг сквозь друга, становились завивающимися вокруг самого себя узором, который начинается и кончается на самом себе, и от этого казалось, что веретена свитков не покоятся в старом обшарпанном шкафу, а вертятся, повиснув в воздухе силой собственного притяжения и отталкивания на самих себе, и Четверган как будто слышал пение этих веретен-свитков-светил. Он присел на истершийся стул, истершийся от чужих тел, которые источали себя на вечный разговор без начала и конца, где комментарий комментировал комментируемое, не подлежащее разгадыванию и не являющееся тайной до тех пор, пока ты не станешь о

ней разговаривать, тайна была в самом разговоре, который существовал только для тех, кто этот разговор говорил. На выступающей наклеенной полочке этого шкафа со свитками лежала затрепанная раскрытая книга, с загнутыми уголками страниц, с переплетом, еле держащимся на корешке. Эту книгу читают все. Но есть и те, кто понимает ее так, как другим понять не дано. Четверган привстал со стула и наклонился над раскрытой страницей. Там, отчеркнутые на полях шариковой авторучкой, бежали справа налево слова, которые он стал переводить одно за другим:

У ж а кир п отч, е св и ровог и, ю л ш о п я
а д у к, и д и, к и ч ь л а м я, и ровог е н:
е н м л а з а к с ь д о п с о г о н. ь т и р о в о г ю е м у е н,
к и ч ь л а м к а к, я. ! И д о п с о г, — а перед этим шли
три буквы, которые при огласовке звучали и произносились
как буква "а" так, что это трехбуквенное слово надо было
прочесть как ААА. "А-а-а!" догадался Четверган и вышел
через двери, на которых отвечивали слова "Ворота раская-
ния". Или "Ворота возвращения". Или "Ворота преображе-
ния". Или "Ворота отклика"? Он стал подыматься по темной
лестничной площадке вверх к тамаевской квартире.

Когда, спотыкаясь в темноте, он добрался, наконец, до
двери, замочную скважину невозможно было нащупать
концом ключа. И ключ и дверь были чужими, хотя и знако-
мыми, и вот так вот в темноте попасть ключом в замочную
скважину — на это требуется привычка и сноровка, а у него
не было ни привычки, ни сноровки и даже в темноте рябило
в глазах после посещения окулиста. А лампочка если не
перегорела, то, заведомо, вывернута. Если бы можно было
сменить мозги, как электрическую лампочку. Все дело в
том, что одним до лампочки, а другим до семисвечника.
И если у тебя в голове изначально горела электрическая
лампочка, невозможно вместо нее ввинтить семисвечник
из ворот раскаяния, возвращения, отклика или преображения.
Что сейчас происходит на Преображенке в Москве? Закрыли
ли толкучку на Преображенском рынке? Уехала ли она на
дачу? Надо было сосредоточиться на одном-единственном
дне, а не думать о переводе с одного языка на другой, ввинчи-

вая семисвечник вместо лампочки. Не попав ключом в за-
мочную скважину, он, забыв, что лампочки все равно прин-
ципиально быть не должно, пошарил рукой по стене в поисках
кнопки лестничного освещения. Надо нажать кнопку и выда-
вить из нее каплю света на этаже. Механизм был устроен так,
что даже в те немногие часы, когда лампочка не была вывер-
нута, свет гас до того, как ты успеваешь добираться до следую-
щего этажа, и приходилось снова шарить рукой по стене.
Когда он вслепую протянул руку и пальцы наткнулись на
неровную дыру в стене, он не успел сообразить, что кнопка
выдернута, и вместо нее торчат голые провода. Дернуло то-
ком унизительно и больно, как будто действительно дернули
тебя за веревочку, навеченную на кишки. Он согнулся и при-
сел на заплыванные ступеньки, и скрепка, державшая разье-
хавшийся шов в штанах, вонзилась в тело. Нечего было
ввязываться в космический обмен через железный занавес
с дырой в штанах. Если тебя не убьет током, тебя унесет
сквозняком на тот свет через дыру в собственных брюках.
И оборвется не более, чем еще одна линия сопоставлений:
того, что прошло, с тем, что никогда не произойдет. И к
лучшему. Потому что он уже давно не мог смириться с тем,
что для ежедневного вороха слов, обрушивающегося на него
со дня приезда, он не может отыскать соответствующего
вороха до отъезда. Не то чтобы сопоставление не отыскива-
лось для продолжения разговора по почте, вовсе нет, отзву-
ков было по горло, но никогда не было уверенности, что
это эхо именно того слова, которое услышано в данную
минуту, а не просто случайное эхо от холостого старта, на-
стоящего сопоставления, которое напомнит о том, что кроме
слов произошло и настоящее несчастье, этого эха он как раз
и боится. Настоящее эхо от прошлого разговора своим гро-
хотом заглушит все утешительные нотки. И новые слова
не становятся своими, а старые уходят печально и незаметно.
Когда он думает о Иерусалиме, он вспоминает Москву.
Когда он вспоминает Москву, ему хочется вернуться в Иеру-
салим. И невозможно найти такую географическую точку,
на которой можно было сосредоточиться до конца, а не
скакать туда и обратно с котлом на спине в поисках своего

золотого прииска, телеграфируя беспроволочным телеграфом. Как будто можно сосредоточиться на географической точке. Сосредоточиться можно только на тех словах, которые сулят новые поступки, а не эхо от старых слов. Нам постоянно требуются далекие слова, чтобы не думать о словах нынешних, К словам, которые сейчас на языке, мы относимся как к переходному периоду, если даже не с иронией. А потом удар, падение и крик: "А-а-а, господи! Я младенец и говорить не умею". Это постороннее эхо гудит в голове и мешает восстановить генеральную линию разлуки, и заглушает эхо от собственного плача, которого так боишься. И нагромождаешь слова, чтобы этот плач заглушить. Потом наступает перепроизводство слов и всяческая инфляция. Сначала ты несешься, как потерянный, к аэродрому и обратно, и говоришь, и доказываешь, и переспрашиваешь, а потом выясняется, что запомнил только то, что уже давно заучил наизусть. Твоя от твоих тебе приносяща от всех и за вся.

Оказалось, что достаточно одного дня, чтобы убедиться в перемещенности собственного лица. Но нам важнее почему-то продолжение разговора любой ценой. И мы ждем следующего дня, чтобы отыскать в нем эхо того, что случилось вчера, чтобы послезавтра вспомнить то, что нам напомнило позавчера. Надо было вдуматься в один-единственный серьезный разговор, но мы ищем новых собеседников, чтобы понять, что нам наговорили предыдущие. И мы улетаем в следующий день, чтобы сопоставить его с предыдущим, как будто он чем-нибудь отличается от всех остальных. А если не искать продолжения и застыть на месте, это значит заглушить эхо от живого голоса, и вот мы занимаемся накопительством и скопидомством, и заведением архива из эха от предыдущих разговоров, которые мы так и не поняли, и все надеемся, что из количества получится новое качество, но ни одно из сопоставлений не становится действительностью, а лишь снова уводит от близких в поисках далекого напоминания. И вот он сидит на этой лестнице, на этих заплыванных ступенях один, совсем один, еще неведомый избранник того, кто никогда не приходит. Он занимается шаманством, словесным заклинанием, камланием, надеясь, что из

слов явится свидетель его присутствия в своих собственных глазах. Все эти годы были убиты на постоянный перевод с одного языка на другой, и симультативно обратно. Прочел одно письмо — оказался в одной жизни, другое письмо — другая жизнь, и так эти жизни сопоставляются, что превращаются в темный бесконечный коридор, по которому он мчитя в кресле на колесиках в поисках выхода. Но этот коридор незаметно вел все к той же прогулке по Пушкинской улице, и главное ее не проскочить, забыв и первый праздник и позднюю утрату. Происходит подмена секретных обстоятельств водевильными, и в этой свистопляске важно различить те слова, которые боялся говорить, когда на тебя смотрели уничтожающе и умоляюще. Надо выуживать свои слова в чужих обстоятельствах, когда брочка катит и мы сидим в полуобнимку к откиннутому верху прислонясь, и покуда ночь длится, покуда брочка катит, дороги этой длинной на нас обоих хватит. Видимость различия лишь углубляла сходство, как видимость сходства между человеком и обезьяной лишь доказывает различие. Мешая отыскать запутанную тропинку между исповедью Юрия Гагарина, встретившего ангела в космосе, и креслом на колесиках, мешающим найти доказательство того, что ты был тем, которым ты никогда больше не будешь. Чтобы доказать самому себе, что ты не в Йошкарлаиме, а в Иерусалиме, найти ту проволоку, по которой она ходила, когда тебе было все равно. Надо забыть, что есть короткий путь забывания, прямой путь в вечность. Нет ничего легче как отождествлять себя с тысячелетиями. Легко найти себе место в вечности, на другом свете, на иной планете. В тысячелетии каждому есть и место и оправдание. Но ты попробуй сохранить свое лицо в одном-единственном дне своей жизни. Легче жить. Легче двери носить за собой. Легче в каждом окне появиться. Новизной недостойной, чужой новизной, опоясаться и заручиться, пока нас не хватятся за подсадной судьбой. Соотечественники и соотечественницы, продяди и соплемянники, вражаны и рожанки, многоуважаемый центральным гомидед и гомосъест! Призраком бродя, как космоистический манифест в минуты сякостный раздубий о судьях моей неуродины, спешу переврять свой

братийный прайвет от имени и попа (помехи) ручению от нашей совместной с Тамаевым и Тутовым ко (помехи) манды, заручившись космической про (помехи) пиской, доношу до самого себя справедливое тр (помехи) ебование служить заветскому заюзу на видке изтории спятилкнижия как два конца той же цепи и,попавшись на удочку обратной стороной той же медали, идем на поводу, болтаясь как давно в проруби в той же воде той же мельницы, паче кала смердяй, не вправе упортре (помехи) блять тот язык, который меня же привязывает к позорному столбу, но если не буду вас любить, то выйду сам с котом. И потому жалоба к нам, господам, на такова же человека, каков ты сам: ни ниже, ни выше, в твой же образ нос, на рожу сполз в какой стороне я ни буду, по какой ни пройду я тропе, благодаславен, благодаславен, балаганозлобен! Балаганозлобен! Обмен.

Четверган поднялся с заплыванной лестницы и вытащил коробок спичек из кармана. Надо просто зажечь спичку и, углядев скважину, быстро, пока спичка горит, засунуть в нее ключ. На спичечной коробке с кондукторской важностью изображен был шарик пламени. Он был похож на призыв хранить спички вдали от детей, или же на светофор, про необдуманное перебегание улицы. Но сейчас в коробке был призыв не против пожара и за пешеходную дорожку: "Жена и дщерь, зажигай свечу в субботнюю вечерь", было напечатано на спичечном коробке. Гигантский катышек серы, наклепленный на кончик спички, вспыхнул карманной атомной гранатой и тут же задохнулся собственной ниточкой серного дыма. Он встряхнул коробок: оставалась одна спичка. Вот так все и решается: у тебя остается единственная спичка, железная необходимость, единственный выход, и если не выйти из него целым и невредимым, можно ставить точку. История движется не массовыми чистками Сталина и не коптящими трубами Гитлера, и не литаврами Наполеона, а той крайней необходимостью, которая заставляет сделать еще один шаг вперед. Когда внутри все пусто, все сгорело, и только спичка горит: зажгись! И если человек не сделает этого крошечного усилия, он загнетса. И он делает это усилие. И от этого крошечного напряжения поворачивается весь мир, потому что

эта точка в этот момент и есть весь мир. Четверган, стараясь не дышать, и, заслонив ладонью будущий сквозняк, чиркнул плавным движением спички о коробок. Спичка, несколько раз стрельнув, вдруг разгорелась длинным и широким пламенем. И вдруг Четверган перестал спешить и тревожиться. Он, не торопясь, снова достал ключ и плавно вставил его в замочную скважину. Спичка продолжала гореть. Поправил под планкой испорченного звонка предупреждение на бумажке "Звонок не работает. Стучите громче". В этот момент сверху послышались мерные удары соседской палки, выбивающей половик. История началась и пошла своим ходом. Спичка погасла, но Четверган уже открывал дверь 16 числа месяца китовраса, в серую субботу, в соловый четверток, в желтый пяток, когда американский астронавт пожал руку советскому космонавту в космической пустоте. Отперев дверь, ее нельзя было просто так распахнуть и войти в квартиру; открывать ее надо было поэтапно. Сначала надо было приоткрыть ее и сразу засунуть ногу, как можно дальше засунуть ногу. Чтобы как можно дальше отбросить от двери кота, который норовил выскочить наружу.

11

Сейчас, выбравшись из кошмара почтовых единиц, в кресле на колесиках Четверган подъехал к собственному пиджаку, засунул руку в нагрудный карман и вытащил новенькую пару очков. Он надел очки, и вместе с вернувшимся зрению дальним углом комнаты с нининим будильником, как будто увиденным впервые, Четверган увидел вновь как заново, как будто с марсианской точки зрения, и кучу неразобранных писем на полу, и стены, увешанные бумажками на кнопках, стены, по которым он только что путешествовал от письма к письму, от листочка к листочку, и вот, в завершение этого непрерывного возвращения к повтору, за окном, затемненным железными полосками штор, раздался новый повтор отчаяния: "Аааауп! аааауп!" стал снова надрываться слепой нищей, и на его третьем "ааауп!", похожем на "ау", послышался глухой раскат. Четверган рванулся в кресле на колесиках к окну и дернул за ремень, свернув полоски штор вверх, вместе со вторым раскатом. Он был готов уви-

деть как все, что находилось вне этой комнаты, взлетает в воздух. И вздернутые вверх жалюзи не ослепили квадратом обнаженного света. То, что он принял за бешеной силы взрыв, было раскатом грома. Черная ермолка нищего как будто притянула на себя небо, превратившееся в черное, пропитанное грозовой влагой, одеяло, и земля внизу побелела от последних косых лучей. Гигантская туча как будто опиралась на черную ермолку, и должна была вот-вот упасть вниз, на побелевшие от нетерпения камни с вытянувшейся по струнке травой. И началось это с ниточки пыли, закручивающейся вверх рядом с головой нищего, и к этой ниточке потянулась игла молнии, пришила ее к туче, и ниточка дернула ее вниз, срывая верхнюю серую пелену, и вместе с этой сорванной пеленой открылась черная рана, и брызнули первые капли, и лицо Четвергана встретило наконец сопротивление ожившего воздуха, и почтовая открытка за окном почернела, сморщилась и исчезла, и вместо поработавшей плоской тишины загрохотала буря с ливнем, разрезав холмы, а потом проглотив их, и перевернулась вверх ногами и закрутилась черными веерами ливня, который ветер разворачивал по всем направлениям, до полной неразличимости выметая мертвую желтизну, и вместо нее устанавливая на скаку черные полчища водопада, которые, постояв на месте, начинали меняться постами, пока не слились в один скачущий танец, который ураганом ворвался в комнату. И пока Четверган успел сообразить, что произошло, столь долго высматриваемый путь из почтовых бумажек был сорван со стены как легкий мостик, и письма одно за другим рванулись в воздух. Они взмывали к потолку и, на секунду повиснув в проеме окна, вылетали почтовыми голубями, превращаясь в чаек над черной пучиной, раскосыми треугольниками забелели в ожившем воздухе и уходили вбок и вниз резкими взмахами. И Четверган пытался вернуть их, зовя их обратно взмахами рук и отчаянными прыжками, но они вылетали из горсти и уходили на круги свои, расстраивая столь долго выстроенную клетку сопоставлений. Четверган задыхался в этом птичьем метании листочков, и, когда они врезались в его лицо, он делал нелепый жест, не зная, хватать ли это уколочшее его письмо или

отпрыгнуть в испуге, давая ему вырваться на волю. Он был оглушен этим птичьим свистом и грохотом за окном, который окружил его со всех сторон, соединившись с грохотом на лестнице, над головой, снизу, и казалось, что вся квартира уже летит вслед за письмами. Четверган мокрыми глазами оглядел опустевшую стену и бросился к входной двери. И отскочил от нее, потому что в дверь стучали. Или стучало в его голове, которая сопоставляла удары в этой квартире, которая ни с чем не сопоставлялась. Он подкрался на цыпочках к дверному глазку, прикрыв его ладонью так, чтобы свет не попадал в глазок, и если кто-то и стоял за дверью, чтобы не видел заглядывающий изнутри четвергановский глаз. Ничего не увидев, Четверган задержал дыхание и распахнул дверь. На пороге стояла Маша.

Она стояла в полутьме лестничной площадки, отделенная театральной рампой распахнутой двери, как будто выступала с подмостков и только что подняли занавес, или еще нереальнее, еще страннее: как будто в зале маленького кинотеатрика уже осветили белый экран и запустили фильм из будки невидимого кинемеханика, но забыли погасить свет в зале, и вот уже мелькают первые кадры, но экран существует не как освещенное окно в другой мир из тьмы кинозала, но одновременно: с продолжающейся плохо освещенной жизнью, как будто сквозь полустертое зеркало — вместе с отражением и тем, что происходит за зеркальной поверхностью.

— Шестнадцатого числа месяца китовраса по новому стилю Ее Императорское Величество ошастливить изволила город Йошкар-Ола своим присутствием? Ваше Величество, как вы решились — сюда? — и Четверган искривился в поклоне, вместо шляпы описав в воздухе полукруг очками, сдернутыми с переносицы.

— Я чего, не сюда попала? — язык ее заплетался. — Это чья квартира? Может, я дом перепутала? А впрочем, плевать. Не в первый раз. На этой улице ни начала, ни конца, и все дома одинаковые. Чего ты, то есть, пардон, — вы молчите? Присесть можно? — и, не дожидаясь ответа, она шагнула с военной прямоотой в комнату, и этой военной прямоотой хватило на два шага, когда ее качнуло, занесло в сторону, и она

плюхнулась на тахту, и от этого приземления отлетела в сторону огромная нотная папка, которую она зажимала локтем. Из папки посыпались ноты. В другой руке у нее была авоська, из которой торчал промокший бумажный сверток, вся она была забрызгана дождем и сейчас пыталась расправить челку, прилипшую ко лбу:

— Я чуток посижу и отойду. Это я после концерта назюкала. И всегда не туда заносит. Всю жизнь номера домов путала. И не туда попадаю. После дневного концерта черт меня дернул ехать в шаварню, и вот опять не туда попала.

— Да нет, вы попали как раз туда, куда надо, хотя я не знаю, откуда вы попали сюда.

— Ты что, ты откуда свалился, ты что не знаешь, что такое шаварня? Я вас, простите, на ты. Это ничего?

— Это ничего.

— Ну шаварня. На железной палке мясо крутится. Они его так обжаривают и потом отрезают, по мере обжаривания. Ничего, вкусное мясо. Не сравнить, конечно, с Бразилией. В Бразилии, говорят, такие куски мяса дают, что в другом месте за такие куски мяса голову бы оторвали, а в Бразилии это вполне обычная порция. А тут стригут это мясо, пока оно крутится, а они его по мере обжаривания обрезают, пока оно крутится, крутится. Чего-то у меня в голове слишком все крутится. Запить бы чем-нибудь холодным эту зубровку?

Четверган тер затылок, который снова заныл с прежней отчетливостью, как будто его только что ударили, и он лежал у кинотеатра "Россия", а над его головой и над всей Россией падал снег. Достав из холодильника коробку со льдом, он долго возился с рычажком, освобождающим кубики льда, и в конце концов, стукнув по коробке, он подхватил на лету разлетавшиеся в стороны ледышки. Когда он вернулся в комнату со стаканом воды, в котором плавало замороженное воспоминание о России, Маша дремала, подтянув плечо под голову. Четверган старался не всматриваться в ее постаревшее, опухшее лицо, старался не замечать мешков под глазами, неприятно приоткрывшихся пересохших губ. Он склонился

над ней и мокрым полотенцем смочил ей лоб. Потом приподнял голову и поднес стакан воды к ее губам.

— Маша, — тихонько потряс он ее за плечо.

Она приоткрыла сначала один глаз, потом второй, под которым у нее просвечивал сквозь слой пудры и грима здоровенный синяк. Грим почти сошел, и синяк просвечивал как будто под пудрой было еще одно лицо.

— Кто меня по имени назвал? Кто меня Машей назвал? — она очнулась и трясла головой. Потом взяла стакан по-детски двумя руками и выпила его сразу, большими глотками, а кусок льда на дне выудила пальцами и стала сосать. — Откуда ты знаешь, что меня Машей зовут? — сказала она, стараясь не проглотить ледышку. — Ты что, на концертах моих был? Я теперь не Маша, я теперь значусь по-библейски Мириям. Это все одно, только перевод другой. У меня все пересохло, после этой ледышки. Может выпьем, у меня после шаварни еще полбутылки должно быть. Они все кричат: да брось ты. Но я сказала: я выпивки в общественном заведении не оставляю. И кто прав? — и она, вынув изо рта ледышку, прицелилась и пульнула ее в открытое окно, за которым шумела стена ливня. Она порылась в авоське и достала оттуда бутылку, выпитую наполовину. Бутылка была заткнута затычкой из газеты. — Впрочем, ты пей, а я погожу. Мне надо на диете быть. Где тут у тебя два нуля? Мне попудриться нужно, извозюкалась вся, и откуда это дождь в такое время года? — и она провела мизинцами, массируя у себя под бровями, как будто не давая глазам закрыться, боясь снова задремать.

Она шумела водой в ванной, потом он услышал ее шаги в кабинете, куда она попала перепутав, видно, двери, потом вдруг неожиданный вопль восторга: и она вкатилась в кухню, оседлав кресло на колесиках:

— Если б у меня было такое кресло на колесиках, меня бы здесь давно бы не было: я бы села и поехала, куда глаза глядят. А тут еще каблук сломался. На этой проклятой темной лестнице, что ли? Куда же я со сломанным каблуком пойду? — в одной руке у нее была туфля, а в другой отвалившийся каблук. — И в ванной у тебя пудры нет. Ты что, оди-

нокий интеллеktуал? Все пишешь. Ты не бойся, я тебя в постель не затащу.

— Мне бояться нечего: мне дальше ехать некуда, и поэтому я могу уступить это кресло. Я доехал до конечной остановки в тот момент, когда ты постучала в дверь. Четвергана несло после напитка из авоськи, который своим аптекарским составом жег глаза.

Но Маша его не узнавала.

— Чего ты нервничаешь? — сказала она, глотнув из его стакана. — Я ведь думаю: может, интеллеktуал, а у меня синяк под глазом. А пудры нет. Свалилась в чужую квартиру, синяк под глазом. Может, я шокирую?

— Ни капли. Меня это не шокирует. Это даже кстати. Как ты сказала: свалилась?

— Но синяк под глазом у бабы должен шокировать. Если этот синяк тебя не шокирует, значит моя морда лица не слишком выделяется на фоне этого синяка? Отличается моя морда лица от синяка или не отличается? — и она, решительно оттолкнувшись, въехала в стену спиной в кресле на колесиках.

— Конечно, нет, — с готовностью согласился Четверган. — То есть да, я хотел сказать. Я хотел сказать, что отличается и не шокирует. Шокирует, когда в кофейной машине начинают заваривать чай. Все остальное не должно шокировать.

Но и эти слова ей ничего не напомнили.

— Нечего оправдываться, — сказала Маша. — Просто мой синяк уже никого не шокирует. Это мне в порту Акко наставили на прошлой неделе. Это мне моя напарница, Нинка, по морде съездила сонькиной скрипкой.

— Нинка-блондинка? — переспросил Четверган.

— А какая же еще Нинка? Конечно блондинка. Правда, я на нее сначала стол опрокинула. Чтобы не лезла к моему мужчине. Это в ресторане было, там Гог де Магог выступает, лучший певец прибрежной полосы. Я ей за него весь бюст груди расцарапала. А она скрипкой по морде лица. Я сначала всем врала, что в машине стукнулась в момент резкого торможения. А потом думаю, чего врать? На утро просыпаюсь, вся морда сплошной синяк. Скрипачка-Соня чуть копыта

не откинула: у нас вечером концерт, а у меня синяк поперек. Мы втроем выступаем, не слышал? — В промежутках между мной и Натальей Сонька исполняет классических композиторов на фортепиано. А я пою русские романсы: ты гори, догорай моя лучина, догорю с тобой и я-я-я, — протянула она срывающимся, слегка шепелявщим голосом.

Она закашлялась.

— Единственное, что знаю про порт Акко — это то, что его не смог взять осадой сам Наполеон Бонапарт — затараторил заплетающимся языком Четверган, чтобы заглушить повисшее эхо от "ты гори моя лучина, догорю с тобой и я".

— Я не могу слушать классических композиторов в живом исполнении. Когда я сижу на концерте, вместо того, чтобы слушать, я все время думаю только об одном: как исполнитель умудряется ставить пальцы на нужное место? А если он уж так прямо машинально и автоматически ставит палец на нужное место, тогда зачем ему ноты? Им что, нужно теоретическое подтверждение, что они палец туда куда надо поставили?

— Я в нотах тоже ни бельмеса, — радостно согласилась Маша. — Я ноты для вида ношу: чтобы перед антрепренером цену набить, и чтоб видел, что, мол, по нотам поет, профессионалка. Мне ноты, конечно, помогают: под ними всегда слова песни написаны, я слова всегда забываю. Вот погляди, — и она, разложив на коленях ноты, стала водить пальцем под нотными линейками, повторяя по слогам: "До-вела-ме-ня меня кручина, подколотная змея". — Это я пою. А в промежутках Соня исполняет Шопена.

— Я не могу серьезно слушать Шопена, — сказал Четверган, разливая анисовую гадость по стаканам. — Когда я слушаю Шопена, у меня перед глазами Жорж Санд с кальяном.

— Кто с кем? — нахмурилась Маша.

— Жорж Санд. С кальяном. Она курила кальян. Она сидела с кальяном в зубах и обкуривала дымом Шопена. А тот сидит бледный от чахотки, кашляет в клубах дыма, но смотрит на нее, продолжая стаю клавиш кормить с руки, а она курит и смотрит в пространство. И меня начинает разбирать смех.

— Чего ж тут смешного? И долго она его так обкуривала?

— Он был ее очередной жертвой. Она была роковая женщина. Вы помните, вы все, конечно, помните.

— Это из Паустовского, что ли? На концертах я романсы пою, а Наталья Паустовского читает наизусть. Поражаюсь ее памяти. Она, правда, один и тот же рассказ вот уже год повторяет. "Снег" называется. Не читал? Я всегда плачу, вот уже год слушаю, и все плачу. Как зимой в эвакуации женщину в далекой деревне поселили. А хозяин-старик умер. А сын его все пишет ему письма с фронта. И она эти письма стала читать. И в этих письмах он свой дом вспоминает и тропинку расчищенную к крыльцу. И она все как в этих письмах устроила. И вот когда он вернулся, все оказалось как в его мечте, про которую он в письмах писал. И она его все ждала, пока снег падал, падал.

— У меня все получилось наоборот. Меня тут не за того приняли. Но зато пришла та, про которую я читал в письмах.

— А у нас с Шопеном и Паустовским аналогичная история. Каждый раз, как в провинцию едем выступать, приходится объяснять, что нас трое, а не пятеро. А нам говорят: концерт из пятерых артистов не можем оплатить. Мы говорим: нас трое, а не пятеро. А они: как же, у вас же на афише написано еще и Шопен и Паустовский. Мы говорим: они давно умерли. А нам говорят: что же, концерт отменять? В общем я Наталья сказала: вы, конечно, носитесь со своими Паустовским и Шопеном, но без русских романсов хрена у вас сборов будет. И она мне синяк так замазала, что не придерешься. Я на Наталью не в обиде. Вот мы мириться после концерта в шаварню и заехали. Как же я в этой квартире оказалась?

— Приблизительно тем же путем, что и я. Мы начали прогулку из одной и той же "Дружбы". Кого-то стукнули по голове раньше. Кого-то позже. Но удара надо было ждать. Это такое выпадение из рая, как из окна квартиры, в которой происходит большой четверг. Или из окна поезда, когда четверг переместился на колеса. И этот четверг на колесах начался в заведении "Дружба". В кавычках.

— Чего ты мне "Дружкой" тыкаешь?! — вдруг закричала она, и Четверган ошарашенно на нее поглядел. — Да у меня вся жизнь как эта "Дружба", даже здесь: муж без работы

сидит, я русские романсы пою, и опять с Натальей водку жрем, только в другом климате. Так и знала, что мне эту "Дружбу" припомнят. Может, мы в этой "Дружке" и встречались. Мало ли кто там бывал. У вас свои филера, а у меня свои филера. И я от этой "Дружки" всю жизнь бегаю. Я ведь на билет в Америку уже денег набрала. А муж раздумывать стал. Пока он думал, тут инфляция в два раза, и никогда я теперь на билет не наберу. Я говорю: чего думать-то? А он говорит: небеса там не те. А здесь — те, что ли? Где тут Млечный путь? Я как иду домой, гляжу на небо и не понимаю: где тут у них Млечный путь?

— У кого "у них"?

Она сидела спиной к раковине и вдруг рассчитанным движением, не глядя, забыв, что она в чужой квартире, швырнула через плечо окурочку точным движением, которое она проделывала уже многие годы, сидя, наверное, у себя в кухне. И окурочку, описав точную траекторию, приземлился в раковине, потому что, в сущности, разные квартиры мало чем отличаются. Четверган проследил траекторию окурочка и сказал:

— Но ведь все равно мы больше никогда в Москву не попадем. А если мы никогда впредь не попадем туда, откуда мы решили навсегда уйти, какая разница, куда швыряться окурочками и где разбрасывать пепел?

— Москва? Да видела я в гробу вашу Москву! Я там кроме этой "Дружки" ничего и не видела. Как переехала в Москву, меня Наталья сразу в эту "Дружку" повела, и больше я оттуда не выходила. Травиться пыталась. А Налитухин мне вместо яду подсунул пурген. Он ко мне тогда и прилип: спаситель. Клиентов стал ко мне водить. Он приводит клиента в "Дружку", я его охмуряю, а когда выходим, я в уборную как будто, а в этот момент его под ручки и деньги наши. У меня одна забота была: охмурить и проверить, есть ли деньги. Если б я своего мужа нынешнего не встретила, давно была б на пересылке. Москва ваша!

— И когда же ты Налитухина в последний раз видела? — протрезвев спросил Четверган.

— Да чего он тебе сдался-то? В милиции я его в последний

раз видела. В милиции, понял? Это когда у нас с Натальей привод был. Нас один мужчина к себе на квартиру пригласил. Пока я с мужчиной занималась, Наталья в ванную пошла. Вдруг мы слышим: крик на всю квартиру, а квартира — коммуналка. Ну я сразу поняла, что дело плохо, потому что у Натальи привычка такая все прихватывать, что плохо лежит, чтобы нам с ней на дому было что поесть. И теперь, думаю, попалась. Выскакиваем на кухню, и видим портрет: стоит моя Наталья, а кругом нее визжат соседи и обкручивают ее кухонными полотенцами. А из декольте у Натальи бьет хвостом живая щука. Она как из уборной вышла, заглянула на кухню и заметила там в тазике живую щуку. Она быстро и сунула щучку за пазуху и собиралась домой драпануть: ушицы сварганить. Только она щуку засунула за декольте, щука трепыхаться стала от духоты, или укусила Наталью за бюст груди. В общем, то ли щука, то ли Наталья опрокинули большое количество кухонной посуды, и на грохот соседи сбежались. И обвязывают Наталью кухонным полотенцем, чтобы щука не выскочила из декольте как вещественная улика. А Наталья кричит: это вас, кричит, надо в милицию, поскольку вы, кричит, оставляете на видном месте животное, угрожающее безопасности бюсту женской груди. И когда нас привезли в милицию, я ее поддержала, и мы милиционерам обе понравились и провели там всего одну ночь, а потом нас отпустили. Без щуки. Там и Налитухин был как задержанный. Он, говорили, украденной шапкой торговал на Преображенской толкучке. Но я сделала вид, что с ним не знакома.

И Четверган сделал вид, что не искал в снегу шапку с разбитой головой у кинотеатра "Россия".

— Ведь если бы всего этого не произошло, мы бы сейчас не сидели бы и не разговаривали. Все украденное возвращается. Чтобы состоялось продолжение старого разговора. Но кто же знал, что вместе с разговором возвращаются люди? И где все окажутся в конце этого сопоставления: в Иерусалиме или в Москве?

— Да чего ты мне Москвой с Иерусалимом плешь проел? Ты знаешь, откуда я родом? Я из города Кемь. Ты знаешь,

что значит К е м ь? К такой-то матери: к. е. м., так царь Петр Великий нас записал. Куда же мне возвращаться?

— У Ревизора движения на станции Кемь выяснилась возможность прицепки вагона прямого следования, задержавшегося на станции Новый Иерусалим. Только я не помню, когда это было и с кем?

— Много ты понимаешь со своими прицепами. Ты вот знаешь, что такое коса? Не волосы, а на реке — коса? Ты вот тут заперся со своими письмами про Москву с Иерусалимом, а знаешь ли ты, что такое коса?

— Это такой песчаный мыс. И его во время половодья затопливает? — Четверган не понимал, куда она клонит.

— Это ваша московская коса. А в Кеми коса — это когда сваи далеко в воду вбиты, а между ними камни навалены. На нее ходить опасно, жуть как опасно, особенно если ветер и на озере волнение. Отец моему младшему братишке в ту ночь, которую не забуду, сказал: не ходи сегодня на косу гулять. А братишка был малец упорный: пойду и все тут. Отец говорит: не ходи. А он: нет, пойду. И пошел. И больше мы нашего братика и не видели. И не увидим больше. Ты вот про разговор тут говоришь, а есть смерть с косой, и коса эта так косит, что сколько ни плачь и ни колотись, а братишка не вернется.

— Но это называется не коса тогда, а мол. Или пристань, — не зная, что возразить, пробормотал Четверган. Но она не слушала:

— Никого не увижу. Когда братишку водой унесло, отец стал из дома уходить. Траву косил все лето. С утра уйдет и все косит, косит, пока не упадет. Придет домой, ляжет на кровать и в потолок глядит. И никогда я теперь не узнаю, глядит он теперь в потолок или уже ничего больше на свете не видит. Кемь моя теперь на небесах. В эту Кемь мне и возвращаться. А в той Кеми я ничего и не видела. Идешь за грибами и вдруг раз, нога на кость человеческую наступит. А нам не страшно. Потом тротуар сделали и шоссе. Мы в школу ходили мимо барачков. Думали, что склады. А это, оказывается, не склады, а лагерь за колючей проволокой. У меня сосед теперь, так он, оказывается, там

всю жизнь тачку возил, пока я в школу ходила. Моя подружка из четвертого класса все фотографию актера Стриженова у меня выпрашивала, мне из Москвы прислали. Я ей давать не хотела. Тогда она говорит: давай меняться. Я говорю: на что? А она говорит: я тебе настоящий человеческий череп принесу. И на следующий день принесла мне череп: на лопате. Мы так и обменялись: она мне череп на лопате, а я ей фотографию на ладони протягиваю, баш на баш. Там, оказывается, вся земля костями проросла. Может, мой братишка на косу пошел, когда эти кости увидел? Зачем он на косу пошел, когда эти кости увидал? Зачем он на косу пошел, когда такая буря на воде?

Она порылась в авоське, достала кошелек и вынула из него фотографию. Поглядела на нее и протянула Четвергану. Это была фотография не младшего брата, а, наверное, сестренки, с распущенной копной волос, со взглядом, умоляющим фотографа не испортить ее победной внешности, и до того сомневающимся в собственной победной внешности, что за одно такое сомнение этому лицу и было даровано выражение вечной надежды на будущие победы и несомненной верой, что эти победы будут продолжаться вечно. И поэтому Четверган вздрогнул, когда подняв глаза от фотокарточки, заметил с каким цепким и пьяным напряжением следила Маша за его взглядом, кружащим по фотографии.

— А ведь это я. Это я, когда еще в Кеми жила. Изменилась? — и не удержавшись, зная, что обречена заранее, все-таки не смогла преодолеть защитного жеста всякой женщины, и поправила челку. Поправила машинально, без зеркала, как раз тот локон, который всегда самый упрямый и известен своей непокладистостью и потому рука всегда поправляет именно его, и поправляла и тогда, когда они сидели друг против друга в заведении "Дружба", и он еще не знал, что она была тогда в парике, а сейчас он с трудом узнавал в этой полутюремной стрижке и опухших глазах ту вечную надежду на вечную победу, которая вечно останется только на фотокарточке. Он выжал из себя улыбку, но она поднялась и стала собирать ноты обратно в папку. По-

том нагнулась и стала искать оторвавшийся от туфли каблук.

Четверган отставил стакан, потом прицелился и запустил окурочек в раковину, подражая ее движению. Но не попал. Потом поднялся, подобрал окурочек, и когда разогнулся, глаза у него были мокрые, и он потерял их тыльной стороной ладони, как будто жгло в глазах: и он закашлялся, то ли от сигаретного дыма, попавшего в глаз, то ли от выпитой жгучей аптекарской смеси. И все вдруг стало ясным и прозрачным, и он стал говорить, смутно догадываясь, какое слово будет следующим;

— Потому что мы все время делаем не то, что хотим. И хотим не того, чего в действительности желаем. Есть такая тяга, на которой мы действительно всю жизнь выезжаем, но эта тяга не выражается ни в каких поступках, и поэтому все поступки, которые мы совершаем, они не имеют отношения к тому, чего мы хотим и желаем. Мы все время боимся этого пожелать, это кажется нам невозможным, нелепым, смешным, бессмысленным, и мы не можем поверить этому нашему самому настоящему желанию, мы всегда сомневаемся в его истинности, и поэтому не желаем его до самой последней веры в то, что это желание исполнится. И тот, кто все исполняет, он ждет нашей последней истинной веры в то, чего мы действительно хотим, и когда мы поверим в это наше хотение, оно исполнится.

И в этом припадке пьяного презрения он вдруг заметил ее вконец запутавшийся взгляд и сразу испугался собственной правды, испугался, что она ему поверила, что он сам себе поверил, и что все действительно зависит от него, и он замолчал испуганно, а потом захотел сказать что-нибудь ироническое, но было поздно, потому что ее губы раскрылись, и уже вздох предшествовал тому вопросу, на который он не смог бы ответить. И тут зазвенел будильник. Нинин будильник. И они слушали этот звон, не зная, где он, и когда он отзвенел, Четверган вдруг понял, что все звуки выключились: не кричал слепой за окном, не шумел грозовой ливень, не слышно было стука на лестнице. Не слышно было ничего. Не слышно было завываний кота на балконе. Собачин молчал?

И Четверган бросился на балкон. Картонные ящики с бутылками были выстроены аккуратными ступеньками, ведущими к квадрату балконной форточки. Непонятно, как выстроил кот эту лестницу к свободе, до форточки оставался короткий кошачий прыжок, который Собачин и совершил, потому что вместо стекла сияла на проступившем сквозь уходящую тучу солнце черная дыра. И эта черная дыра в космосе твердила о том, что из квартиры ушел тот, без кого он не оказался бы в этой квартире в качестве кошачьего сторожа, и письма не были бы перепутаны, и если бы он не стал читать старые письма в новом порядке, сидя в кресле на колесиках, он не вспомнил бы другое кресло, и он не вспомнил бы про нее, он не захотел бы истинно и с верой до конца в собственное хотение, чтобы она пришла. А остался бы с жалобой нам, господам, в такого же человека, каков ты сам: ни ниже, ни выше, в твой же образ нос, на рожу сполз.

— Его надо вернуть, — прошептал Четверган и бросился наружу.

Она плохо понимала, что, собственно, произошло, но старалась не отставать, хотя и задыхалась, но подражала его крику, когда он звал кота, и двойное эхо от их голосов, как две тени, прыгало с холма на холм, когда они сбежали по лестницам с пустынной улицы. Он держал ее за руку, потому что туфля без каблука скользила по камням, влажным после ливня, а они перепрыгивали с камня на камень с фанатичным упорством людей, цель бегства которым неясна, и разъяснение не предвидится, и именно поэтому надо двигаться вперед и вперед. Ему казалось, что нужно забежать за вот еще один соседний холм, и они с него увидят беглеца, который ведь и убежал только для того, чтобы все бросились его искать. Возможно, что они крутились на одном месте, но у этих холмов — обманчивая высота, и разбросаны они были так, что, спустившись с одного холма, ты уже не видишь предыдущего, и дом исчез из виду, как будто они находились за тысячу километров от него. И тут она вскрикнула, вцепившись в его плечо: туфля без каблука скользнула по влажному камню, и она, наверное, подвернула ногу в самом больном месте, у щиколотки, потому что присела, и,

когда попробовала подняться, снова резко вскрикнула, и сказала, что она не может шевельнуть ногой. И ногу отвести для шага, ходьбу составить из шагов. Откуда он возьмет отвагу понять, где они оказались? Он настолько привык враждовать глазами с несправедливостью дневного света, захватывающего последний твой тыл, уничтожающего каждый намек на существование твоей тени, отбирающего надежду на уход, на побег, на другую сторону, что сейчас он принимал то, что он видел, только на одном основании: это был другой мир. Вместе с ураганом и ливнем исчезла и желтая ненавистная почтовая открытка, которая была наклеена вместо тех холмов, которые он видел сейчас собственными глазами. Лучи шли не сверху, а изнутри, и поэтому не нападали, падая, как подстреленная хищная птица, а ласкали, как лампа под абажуром на дачной террасе, когда открываешь калитку под вечер и идешь по тропинке к дому. Когда он нагнулся, чтобы помочь ей подняться, в лицо дохнуло запахом скошенной травы, или осоки, как будто недалеко была река, и, наверное, от нее шли туманы. И у тумана были знакомые очертания, и Четверган улыбнулся кустам бузины, сползающим с опушки, и зашумевшей над головой прострелянным светом кроне орешника, и осыпающимся светлякам желтой малины, запутавшейся на изгороди из уходящих солнечных лучей, и крохам земляничного родства, цепляющимся за верхушки уходящих грозовых облаков. И когда ушло последнее облако, сквозь горбы холмов мелькнула перед глазами до оскомины зеленая долина. Это и был Иерусалим, который здесь, а не там.

— Куриная слепота? — сказала Маша и нагнулась за бедным цветком под каблуком. — Как же мы теперь домой вернемся?

И, как будто отвечая на этот вопрос, совсем рядом или очень далеко, зазвенели колокольчики. В этом звоне было предупреждение, и когда они оба беспомощно огляделись, взгляд пересекла бесшумная тень, скользнувшая в воздухе. От испуга до короткого смеха не прошло и вздоха: на плечах у Четвергана сидел Собачин. Колокольчики у него на шее вздрагивали на шелковых ниточках ветра, и был он похож на китайское чудовище с бумажной драконьей головой: потому что не видно было ни его усов, ни его двусмысленных

глаз, ни ушей, похожих на чертовы рожки. Как будто вместо головы у Собачина торчала кипа исписанных листочков, заткнутых под ошейник с колокольчиками. И в этот букет примешались почтовые конверты с марками, изображавшими и последний день Помпеи, и возвращение блудного сына, и международное сотрудничество в космосе. И, потянув за один из исписанных листков, Четверган узнал почерк Нины, смытый дождем. Четверган, замороженный податливостью Собачина, потянул в свои руки эти унесенные ураганом письма, но кошачьи зубы не отпускали добычу: Четверган не сомневался теперь, что они были собраны в том же порядке, в каком висели на стене до того, как были унесены могучим ураганом и развеяны по холмам. И Четверган, впервые за долгие годы знакомства с Собачиным, провел по его блестящей черной спине ладонью, сулящей только благодарность, и тихонько назвал его настоящим именем Себастьян. И тот бесшумно прыгнул вниз и, как будто оборачиваясь, повел их по невидимой тропинке между холмов к дому. Маша осталась внизу у "Ворот преображения", а Четверган бросился наверх.

Когда он вынес кресло на колесиках, чтобы довезти хромающую Машу до ее собственного дома, улица была пуста. Ее нигде не было. Он стал звать ее. Она не откликнулась. Она ушла своей дорогой. Она появилась как будто только для того, чтобы доказать, что слова сбываются. Слова сбываются, но не жизнь. Она ушла, так и не узнав его. Четверган оглянулся и увидел, как кресло на колесиках, набирая скорость, уезжало вниз по улице Таити. В кресле сидел кот Собачин, и Четвергану показалось, что он помахал ему на прощанье лапой. И Четверган не бросился догонять это кресло, которое мчалось уже на горизонте, обгоняя народы и государства. Он был один на всех путях.

* * *

Я вернулся в тот день с Мертвого моря.

Я бежал вниз по улице Таити, боясь опоздать, как будто должно случиться нечто, что я обязан предотвратить, и, если опоздаю, никогда себе этого не прощу, потому что только я

знал, что это могло случиться. В руках у меня было письмо, я сжимал его всю дорогу в руке, не зная куда его сунуть, и оно мялось в руке и жгло. Я нашел это письмо, когда вернулся с Мертвого моря, где лелеял свою укорачивающуюся в одиночестве тень под восходящим к зениту солнцем. Это было первое письмо с того света, адресованное именно мне, и никому другому. И это письмо делало меня прямым соучастником его жизни, потому что если бы не я, он никогда бы не узнал того, к чему действительно двигался, не вставая с кресла на колесиках. Такое письмо получаешь раз в столетие, чтобы вспомнить о том, что, кроме слов о жизни, есть еще и такие слова, которые сами по себе и есть жизнь, а ты просто почтальон этих слов. На конверте алела наклейка "нарочным-экспресс" с обратным адресом Нины, и я оказался этим нарочным:

"Вы единственный человек, к которому я сейчас могу обратиться, потому что только вы были свидетелем того разговора, с которого все и случилось. Помните ли Вы наш разговор о Четвергане у кинотеатра "Россия", наш единственный с Вами разговор? Когда он неожиданно уехал с дачи и поехал на проводы Тамаева, а я позвонила Вам, и мы тогда еще смотрели идиотский детский фильм? Вы должны помнить, я это видела по Вашим глазам. Но Вы не знаете, что когда мы разошлись, и я шла по тротуару, я вдруг увидела его в окне троллейбуса, и троллейбус шел совсем рядом. И я перехватила его взгляд, и он не заметил, что я видела, как он на меня смотрит. Он смотрел на меня, как на чужого человека. Он не глядел на меня, как глядят в собственное отражение, как Вы тогда убеждали меня в том разговоре. Он глядел как слепой. Или как глядят на слепого, не догадываясь, что слепой все видит. Вы тогда сказали еще, что он бежит от меня, как от самого себя, и я ответила тогда, что если я превратилась в его двойника, я должна бежать от него. Но вот когда я перехватила его взгляд из окна троллейбуса, этот слепой взгляд меня как будто ударил, так оттолкнул, как будто все эти семь лет я ему навязывалась в двойники со своей фальшивой преданностью. Понимаете, когда мы начинали его обсуждать, то на одно слово можно было отве-

тить другим словом, и все шло мимо, и казалось, что ничего страшного не происходит. Но ведь на пощечину можно ответить только слезами. Или пощечиной. У меня не было своих слов, чтобы ответить на эту пощечину, потому что все слова были его. У меня не было слез, потому что я разбазарила их на слова прежде, чем пришло время плакать. Я просто не знала, куда деться от самой себя, и шаталась по городу, потому что боялась появиться и дома и на даче, чтобы не встретить его: я его ненавидела в этот день, потому что ненавидела и презирала себя, то есть его, того его, который превратился в меня. Так я промучилась до поздней ночи, звонила, не помню кому, делала вид, что должна по делам ехать на другой конец города, а когда вылезала из метро, не могла понять, где я оказалась. В конце концов, уже совсем поздно, уже за полночь, очутилась снова у "России", и вдруг пошел снег. Ведь в этот день распустились листочки, и вдруг снег, а "Россия" была освещена какими-то вспышками, хотя уже давно троллейбусы не ходили, и окна были темные и фонари, а тут вдруг снег и как будто фейерверк, и из гигантского кинотеатра крики и смех, прямо шабаш. Я думала, что я схожу с ума. Я все это объясняю Вам, чтобы Вы поняли, в каком я была состоянии, и не отнеслись к тому, что произошло потом, слишком безжалостно. Мне нужно было, мне было необходимо, чтобы меня кто-нибудь пожалел в этом снегу.

И тут из стеклянных дверей "России", сквозь хлопья снега, вышел навстречу мне Налитухин. Знаете ли Вы, кто это такой? я знала только одно: что именно к нему Четверган уходил от меня, именно с ним стекленел его взгляд, которым смотрел он на меня, как на пустое место. А Налитухин был пьян, и лез целоваться, и распоряжался тем фейерверком, который вспыхивал за стеклянными дверьми. Короче говоря, я вошла во внутрь. Я не буду оправдываться тем, что меня напоили, что через четыре минуты я уже не понимала, где нахожусь, что вокруг творилось нечто неопишное: танцы-шманцы и все остальное. Я знала куда и на что я иду. И это произошло в темноте, и произошло зло и весело. Я хочу сказать, что после этой ночи я была беременна. Четверган уе-

хал, когда я была беременна. Все эти месяцы я была беременна и ни словом не упомянула об этом ни в одном письме. Потому что я не знала, от кого ребенок. И до сих пор не знаю. Я не видела лица того, с кем это произошло. Точнее, я не осмеливаюсь поверить в то, о чем я догадываюсь. И сейчас я подхожу к тому, из-за чего я пишу сейчас Вам, и что только Вы можете поправить. Ребенок родился вчера, и пишу я Вам прямо из больницы, и сейчас я хочу знать правду. Вы должны спросить Четвергана: был ли он в ту ночь, о которой я рассказываю, в "России"? Это первый вопрос. Спросите его сначала: был или не был. И если он скажет — да, тогда спросите его, помнит ли он следующий разговор в темноте: она спросила: "Куда неприличнее целовать, в ухо или в губы?" и он ответил: "Самое неприличное — это варить чай в кофеварке". Потому что именно этот вопрос задала я тому, с кем я в ту ночь — короче, от кого я была беременна с той ночи. И когда голос в темноте ответил мне про чай и кофеварку, я узнала и голос, и интонации, и манеру Четвергана. Я не могла тогда сказать ни слова. Я не могла сказать ни слова и потом. Во-первых, я была настолько пьяна, что не уверена, был ли такой обмен репликами. Во-вторых, если это был действительно Четверган — то все вышло чудовищно и непоправимо. Ведь он мне изменил. Ведь я ему изменила. Ведь мы друг другу изменили, даже если переспали именно друг с другом. И все эти месяцы я носила в себе ребенка измены и предательства, хотя это его и мой ребенок. Если это мой и его ребенок. И я хочу это знать. И я хочу, чтобы он это знал. Я прошу Вас, очень прошу. Потому что от его ответа зависит мое решение: ехать к нему или оставаться здесь, с чужим ребенком. Да, и еще: передайте ему, что кресло я выбросила."

Когда я доехал до дома с письмом в руке, Четверган сидел перед "Воротами преображения" на краешке тротуара. Я задал ему два поставленных прямо вопроса, и он, ничего не спрашивая, ответил на них, как будто давно ждал человека, который его об этом спросит. И тогда я передал ему конверт. Тот конверт, в котором письмо пришло по почте, я оставил себе на память. Нинино письмо я переложил в новый конверт, единственный чистый конверт, который нашелся у меня в

доме: просто неиспользованный советский конверт без марок, который чудом сохранился еще с Москвы. Четверган вынул письмо и повертел пустой конверт в руках. Лотом отогнул верхний клапан и заглянул во внутрь. Потом усмехнулся, пробормотав: "Я думал, что это цензурные номера. А оказывается, такие же цифры выдавлены и на новых чистых конвертах. Значит это не печать цензора: это обыкновенный номер фабричной серии, как на деньгах". Все это было репетицией перед генеральным чтением. Он, оглядевшись, развернул письмо Нины, и я отошел в сторонку. Когда он кончил читать, он подошел ко мне и тронул меня за плечо:

— У меня родился ребенок, ты слышишь? — прошептал Четверган. — Сюжет кончился, и нам с ней пора идти другу другу навстречу. Значит еще не оторвались от кубка, еще тянут к себе клейкие листочки, голубое небо и любимая женщина.

— Ты забыл упомянуть великие могилы, — поправил его я, и мы вернулись в тот самый свой из не своих домов, и мы были впервые вдвоем, и за нами были все, и он разложил размытые дождем письма, и стал говорить, улыбаясь. Он говорил всю ночь, перескакивая и повторяясь, и никак не смог свести концы с концами.

*Иерусалим 5738 год
Судный день
Четверг*

Вышли в свет сборники стихотворений
ЛЕОНИДА ИОФФЕ

"Косые падежи" и "Путь зари"

Книги продаются:

в Иерусалиме: "Дар" — ул. Пинаса, 7

в Тель-Авиве: "Лепак" — ул. Рамбама, 15

"Болеславский" — ул. Алленби, 72

в Хайфе: "Хайфлепак" — ул. Арлозорова, 11.

Стиль этого произведения автор определяет как пейзажно-иронический. Он восходит скорее к Вагину, чем к Бунину. Автор не идентифицирует себя с персонажами, будь они взяты порознь или вкупе. Исключено, однако, и то, чтобы роль прототипов отводилась его знакомым. К сожалению, не является текст и какой-либо из ипостасей создателя. Короче говоря, в дальнейшем повествовании нет ни одного слова правды, но и ни одного — лжи.
1.10.1969.

P.S. Подлежащее второго предложения грамматически относится к слову "автор", а семантически к слову "стиль".

Андрей АРЬЕВ

ДОЛГОТА ДНЯ

И не живу, и, кажется, живу.

О. Мандельштам

1

Он проснулся, ничего не чувствуя, — только тяжесть в ногах от сползающего на пол одеяла. За мутными стеклами избы, за чадящей полосой дождя белеет рассвет, Поджимая пальцы и ежась, Семен опускает ноги с кушетки. Доски пола, с которого давно сошла краска, чисто вымыты, и между ними влажно чернеют щели. Босиком, в обвисших сатиновых трусах, Семен подходит к низкому окну и распахивает форточку. Шум дождя, похожий на шипение масла на сковородке, врывается в комнату, но тут же отступает, остается в палисаднике.

Семен зажигает настольную лампу и привычно слегка удивляется, что она зажглась — здесь, в деревне, такая город-
Из Альманаха № 1 "Часы", 1976 г. Ленинград.

ская, миниатюрная, под легким металлическим колпаком. Она напоминает о родительской квартире в Ленинграде, об одиноких без одиночества часах после полуночи, когда мать, сестра, отец спят где-то рядом за тонкими стенами его комнаты, и неощутимый сквозняк тихо шевелит блеклые шторы на окнах.

От лампы в углах комнаты и за окном темнеет, а над маслянистой поверхностью покрытого клеенкой стола мерцает конус света. В янтарной его прозрачности на самом дне лежат очки. Над столом висит тощий календарь, и Семен тянется к нему рукой, приподнимая и не решаясь оторвать серый листок с надписью: "10 октября, суббота"... То, что следует дальше, Семен давно затвердил наизусть.

На работу идти не хочется, но субботний день вселяет неясные надежды на вечер и приближает завтрашнее утро. Субботнее ожидание воскресного утра. Последний отблеск померкшего детства озарит его. Но в воскресенье спится дольше обычного, и ясно к полудню, что день ускользает. Ибо в каждом последующем часе таится беспокойное напоминание о долгой неделе впереди.

"Эх, славно, славно", — вздыхает Семен, заканчивая одеваться. Не снимая очков, он натягивает грубошерстный хемингуэевский свитер, неопровержимо скрывающий не только худобу, но и сутулость Семена.

За стеной, половину которой составляет беленная извесью печь, тетя Шура, хозяйка, уже полчаса как приготовила завтрак. На тете Шуре все в мелких цветочках: платье, платок, передник. От этого и от морщин лицо ее кажется рябым, хотя следов оспы на нем нет.

Семен вяло переступает по кухне, руками обламывает хлеб, ковыряет вилкой в картошке, говорит:

— А что, тетя Шура, так вот мы тут вдвоем и скончаемся. Это ведь скоро — умереть.

— Скоро? Не скажи, — вслух думает тетя Шура. — Другой раз помрешь, а потом еще три дня в гробу лежишь.

— Да, да, это верно, — засмеявшись, говорит Семен.

"Вот тебе образ русской женщины, — думает он. — И зачем им Некрасов? Ну, что говорить о нем этим крестьян-

ским детям? Как их кто-то давным-давно изобразил, отобразил, защищал, просвещал, навещал?"

Эта мертвящая монотонность глаголов уже десять лет, как прибор, накатывается на Семена, угоняет его в детство, в блаженный концлагерь, из которого он упорно и тщетно, стыдясь, убегает в книги.

Как постичь то, что происходит с человеком после четырнадцати. Семен не знает до сих пор.

Семен надевает застиранный плащик "Дружба" (когда-то он был голубым), вынимает из портфеля учебник по русской литературе XIX века, листает его. "Н.А. Некрасов". Семен со вздохом пробегает глазами первые строчки:

"Отец поэта — "угрюмый невежда", "охотник и игрок", жестокий крепостник — вел праздную и бесплодную жизнь, протекавшую "среди пиров, бессмысленного чванства, разврата грязного и мелкого тиранства".

"Да, славно палучается," — думает Семен, засовывая учебник назад в портфель.

Он выходит на улицу и, такой же как дождичек, мутный, никчемный бредет по дороге. Овцы, пыхтя, обгоняют его, шерсть на них свалаялась, обвисла, похожа на обгоревшие фитили. Мокрыми боками овцы мягко трутся о брюки, и они становятся возле колен черными от влаги.

Отнюдь не напоминая Иисуса Христа и, зная об этом, поскольку имя его все же блуждает в голове Семена, он продвигается среди овец и, как любое из прежних осенних утр, вспоминает, шепчет красивые, не до конца понятные слова.

"Провинция, лангобарды, гуинплен, прощайте, а н а," — качаются на мертвой зыби памяти поплавки.

"А говорить будем о Ермиле Гирине".

Двухэтажное здание школы грузно темнеет под дождем на высоком берегу Волхова. Школу все называют "красным домом", потому что это единственное кирпичное здание в поселке. Возможно, оно и было когда-нибудь красным, но дети, которые здесь учатся, об этом не помнят.

2

Теперь, когда жизнь ее друзей определилась, Аня Некрасова так и не знает, кто бы из них ее в конце концов не бросил. Разве что Семен. Хотя с ним ведь ничего не было...

Уже почти год Аня замужем. Но и по отношению к Герману полной уверенности нет, несмотря на то, что Аня поумнела за последние месяцы.

Герман сегодня приезжает из командировки, и Аня спит одна.

Тяжелые, яркие видения проплывают перед ней ночью. В бархатной черноте октябрьского сна появляется лунного цвета древко, и из него, как зубья гребенки, торчат, фосфоресцируя, ножи. Аня шевелится под одеялом, чувствует себя совсем разбитой. Она вздыхает, поворачивается на бок, открывает глаза.

Безмолвная, блеклая заря виднеется в окнах.

Ане так хотелось проснуться беззвучно, недвижно, и чтобы за окнами шел первый снег. В комнате было бы светло, тепло. Нежный озноб после ночи пробежал бы по ее телу.

Но больше всего Аня любит просыпаться ранним прозрачно-синим апрельским утром. Кто-нибудь из приятелей (Игорь. Нет. Лучше все же Гера) должен при этом лежать рядом в постели, но пока спать...

Аня берет со столика в изголовье тахты полученное вечером письмо от Семена, пробегает его глазами. "Вот ты относишься ко мне не хуже, чем даже к Герману, — читает она, — и все же Герман гораздо ближе тебе. Так и всегда будет. Но мы никогда не станем чужими, а почему — разве я знаю? В это воскресенье я не поеду в Ленинград. Не хочу. Если бы ты меня навестила. Так было бы славно. Здесь все по-прежнему, по-моему, по-пустому..."

"Ах, как жаль Сеньку, как жаль, — с грустным удовольствием думает Аня. — Я бы поехала... Какие они все-таки тоже несчастные, эти мужчины. Но почему ему не понять, что я живу не с ним?"

Аня встает, стройная, в длинной ночной рубашке, прячет

письмо в стол, забирается назад в постель, включает над головой приемник. На средних волнах Москва передает старую запись: голос Михаила Кольцова из осажденного Мадрида.

Да, звонит. Нетерпеливо и отчетливо. Аня скидывает ночную рубашку и, натягивая халат, всем телом теплея, идет, заранее улыбаясь, открывать.

3

Недвижно-голубое небо над застывшей белизной облаков ничего не говорит о возвращении, об осени, о сыром ветре, тяжело веющем вдоль каналов там, внизу, в Ленинграде. Но самолет начинает снижаться, под ним проносятся серые клубящиеся провалы, мелькает какая-то вода. Ил-18 заходит на посадку со стороны Финского залива, и город предстает перед Германом как огромный, растасканный по берегу моря, едва тлеющий в утренней дымке, костер.

Герман Поляков, молодой журналист и слегка поэт, не торопясь улыбается самому себе и приветственно зевает.

Самолет приземляется, долго катит по взлетно-посадочной полосе, вырывает к аэропорту. Пассажиры встают, несмотря на окрик стюардессы, которой, впрочем, нет уже до них дела.

Общее радостное недовольство передается Герману, он поднимается и снова садится, чтобы глянуть в бортовой иллюминатор.

Только через несколько минут стихает гул моторов, последнее мелкое дрожание захватывает самолет, и лопасть винта восклицательным знаком останавливается над крылом.

Скользнув шелковой подкладкой распахнутого мантия по руке стюардессы, которая невнимательно ему улыбнулась, Герман ступает на трап. Серого сукна английская кепка ни от кого не скрывает его приятного, во многих отношениях приличного лица, с неясным выражением прозрачно-серых, петербургских глаз, и оттенком банальной мужественности из-за тонкого шрама над бровью. Герман легко, словно под

аплодисменты, сбегает по ступенькам. Узкая лента встречающих виднеется вдалеке за барьером, и он, покачивая портфелем, направляется туда, по залитому асфальтом озеру аэродрома.

Герман Поляков чувствует себя немного иностранцем. Неоновая надпись "Ленинград", как просвет в тучах, тянется по тусклому фасаду здания аэропорта.

"Нет, брат, это еще не Петербург", — думает Герман, проходя зал ожидания, похожий на помещение провинциального железнодорожного вокзала. В его дальнем углу свалены грязные мешки, прикрытые сырым брезентом. Да и лица кругом — тоже не блеск. Только здесь Герман ощущает, какое пасмурное сегодня утро. Он покупает газеты и, не зайдя в буфет, ступая по черным гребешкам слякоти на мутном линолеуме пола, выходит к автобусам.

В автобусе, на эскалаторе метро, в поезде и снова на эскалаторе Герман просматривает газеты, неаккуратно сгибая листы. Плавное неподвижное отражение лица КОММУНИСТ ИОНА ЯКИР, мелькающее в черном, как вода, окне вагона ОЧЕРЕДНОЙ ЗИГЗАГ ГОЛДУОТЕРА, да зыбкий звон в ушах после самолета ГАСТРОЛИ АРТУРА РУБИНШТЕЙНА — и добавочный, никчемный час возвращения ПОСЛАНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА ОЛИМПИЙЦАМ, приобретает легкие очертания минуты.

Герман поднимается на Невский с таким ощущением, словно вчера порядочно выпил, радуясь традиционному выигрышу "Зенита" у киевского "Динамо" на своем поле.

Десять лет ежедневно Герман изучает последние полосы газет с сообщениями о спорте. Сам он, окончив школу, бросил и спорт, но таким странным способом он как бы поддерживает юношескую форму.

Герман идет мимо здания городской думы и, так бывает с похмелья, все то, что он видит: асфальт под ногами милиционера, автомобиль возле костела, чернильный отблеск стекол верхних этажей, — представляется ему ясным и четким, как будто протертым влажной тряпкой.

"Еще минимум полчаса никто не будет знать, что я в городе. А я уже вон где, у пивной. Как невидимка."

И точно. Двери пивной, которую приятели Германа называют "Под Думой", не заперты, хотя до открытия остается часа два. Однако, ни щуплого швейцара с усохшим черепом, ни похожего на Кутузова, с неизлечимо сальной ухмылкой, гардеробщика Францыча не видно, и проход внутрь заграждает поставленная на пороге металлическая табуретка. Герман заглядывает в окно, за которым в мягких белых куртках тесно сидят официанты. Они пьют свежее пиво, закусывая вяленным лещом. У них своя компания. Герман им снисходительно завидует. Один, молодой, с американской стрижкой, хлещет о край стола воблой. Герман знает этого парня. Каждое лето он интересуется поступлением на филфак: спрашивает, есть ли там португальское отделение.

"Для них и сейчас еще не осень", — думает Герман и отходит от пивной, в которую тем временем проскальзывает первый завсегдатай — неизысканно бородатый и недостаточно молодой литератор Матвей, предтеча кое-какой ленинградской прозы. У него взгляд отупевшего Назарянина, гнилые зубы и удочка в руке.

Но Герман Поляков шагает по Невскому, покачивая портфелем, и не спешит.

"А что? После 56 года открытие этой пивной, пожалуй, первое, чем нас в Ленинграде побаловали. Эпоха открытия Пивных Баров. Подошло бы для Орвелла. Незабываемый "1984". Через двадцать лет. А через десять? Тридцать три набегит мне годка. Возраст Христа. М-да..."

Работяги в ватниках и просто личности в плохо застегнутых пальто стоят у пивного ларька за Домом книги.

"Ей-богу, если кто из них сегодня и умывался, то в Обводном канале", — думает Герман.

Однако, ничего, становится в очередь.

С нетерпеливым удовольствием он следит, как, заполучив свою "большую" пива, жидкого, словно солнце в серенький денек, каждый сгоняет вбок эфемерное облачко пены, и ее кружева лохмотьями летят на мостовую.

На голубой скамейке под деревьями, которые летом составляют липовую аллею посередине улицы Софьи Перов-

ской, Герман Поляков прихлебывает пиво. Попусту не размышляя, он решает зацепить еще.

Мимо чьего-то плеча Герман просовывает кружку в окно ларька и ставит ее на влажную желтую губку, туда, где остывает чья-то мелочь. Вялый мат зарождается в недрах очереди, и какой-то утренний рыцарь Невского проспекта тянет Германа за рукав.

— Господа, священное право повторить! — отстраняя чужую руку портфелем, сознавая права, громко говорит Поляков, и очередь утихает, соглашается, что он тоже "наш", только одет по-другому.

"А теперь — по домам" — допивая вторую кружку, убеждается Герман. Да и то: вполне скромные, как полагает он, и нескромные, как уверяет молва, желания манят и торопят его в высокую комнату с низкой тахтой, к Ане, которая и всегда казалась Герману очень красивой.

Так оно, наверное, и есть.

Массивный подъезд набережного дома в стиле "модерн" ничем не напоминает о современности и виден издали, едва Герман выходит к Неве. Разреженное счастьем одинокое возвращение в этот город последний раз увлекает его не спешить.

Отечная заря плывет над Невой среди туч, в дымах окраин. Пожарная машина несется по пустынной набережной, пронзительно воеет сирена. От этого воя, от этой зари, взметнувшись, кружатся в голове обрывки стихов Блока, бледнокаменный Петербург поднимается за серой водой.

И молодой кавалергард, томясь, взбегаёт на третий этаж.

4

У каждого человека есть неистощимые запасы глупости. Мужчины пытаются исчерпать их, общаясь с женщинами. С женами это удается...

На первом курсе филфака Герман Поляков услышал фразу: "Американцы приехали в джипе цвета болотной

тины." Утверждали, что подобной ремарки в киносценарии достаточно для поступления во ВГИК.

В первую, незначительную минуту знакомства с Аней Некрасовой, знакомства, после которого нужно при следующей встрече представляться вторично, Германа поразили ее глаза, влажные, "цвета болотной тины", как он немедленно опознал. "Мужчина с такими глазами был бы мерзавцем, — подумал он тогда. — Но женщина!.."

Аня, в ту университетскую ночь Нового 1962 года отнюдь не почувствовала, что встреча с Германом ей "суждена". Наоборот, ожидала она, что "суждено" ей будет другое. Но ей запомнилось, с каким выразительным бесстрашием Герман, подсев к их столику, читал те стихи Пастернака, которые не публикуют по политическим причинам, как со справедливым восторгом считают студенты, характера. И ей понравилось, что при всей недвусмысленно ласковой внимательности к женскому полу, Герман с явной охотой ушел продолжать пьянство в сугубо мужском обществе.

Новогодний бал в Павловском дворце поплыл дальше, безмятежно буйный диксиленд сексуально затягивал, а потом сокрушал мотивы, люстры погасли, зеркальный шар блеснул и вертелся под потолком, стены отступали в темноту, и разноцветные осколки света по кругу полосовали гуляк.

Ночь кончилась судорожно, не ожидая рассвета.

Три года скоро пройдет с той, под вечерними окнами мелькнувшей, зимы.

Но до сих пор Герман Поляков уверен, что "цвет болотной тины" более пристал глазам женщины, чем военному автомобилю.

Сегодня под припухшими Аниными веками Герману чудятся какие-то "болотные огоньки", о которых он, помнит, читал, но, редко бывая за городом, не видел.

Не сняв плаща, он обнимает Аню, и халат ее распахнут.

— Герман, Гера, разденься, — шепчет Аня, розовая, прижимаясь телом к прохладно-голубой ткани плаща.

Тогда молчание опрокидывается на белую постель, и по комнате расплескивается тишина.

— Знаешь, в тот первый вечер... в ту ночь мне казалось...
— Тебе ведь и сейчас кажется...

.....
— Ну, как было в Мурманске?

— В Мурманске было по-разному, — улыбается Герман.

— Повеселился? — по-своему истолковывает улыбку Аня, ибо поэтесса Хемингуэя ее никогда не занимала, и только на первых курсах института ей хотелось походить на Брет Эшли.

— Было, — подтверждает он.

— Попил?

— Попил, "занзибарчик". Ты как, пойдешь в свою "рыболоваторию?"

— Да, — вздыхает Аня, — мне давно пора. А что это, "занзибарчик"? — спрашивает она, но ее отвлекает другое: непроизвольно и про себя она начинает не то сама произносить, не то слышать слово "зулус", и тут же следом, как-то совсем прозрачно, перед ней всплывает (хотя она и не закрывает глаз) лицо вьетнамца, стажирующегося в их лаборатории, затем лицо "шефа", сорокалетнего доктора наук, который делает вид, что относится к ней так же, как и ко всем, а потому сегодня непременно спросит, по какой причине она так поздно пришла.

Больше всего в жизни для Ани (и это ощущение пришло вместе со службой) оскорбительно зависеть внешне, не по любви.

"Нет, и Гера никогда не поймет, каково бывает на душе, — вконец расстроившись, думает она. — Поэтому он и сильный. Или просто мужчина?"

И раздражение обратной волной захлестывает ее всю, вместе с тем, что она любит. Но встает Аня тихо, не мешая Герману рассказывать.

— Занзибарчик — это карельский пунш, чай со спиртом, — говорит Герман. — Я там познакомился с парнями из Арктического пароходства. Ездил с ними ловить налимов. Взяли вездеход, спальники и — на озеро. Кругом сопки в снегу, антенные мачты торчат. Какой-то не русский, Вологды или

Архангельска, север, с лесами, реками, и черными избами по берегам, а вселенский, "современный" север; он, кстати, очень фотогеничен... Аня, тебе неинтересно?

— Господи, конечно, интересно. Я просто опаздываю, — и дальше про себя. — Ну и самовлюбленность! Он рассказывает, так я что, два часа голая должна перед ним сидеть?

— Впрочем, это все так, внешне, — говорит Герман и, закрывая глаза, вспоминает о главном, о том, как он ночью лежал в спальном мешке, было тепло, а над ним, омывая лицо, плыл низкий ледяной ветер из тундры и раздувал огонь сигареты. Он смотрел вверх, на звезды, на их бессмысленный порядок, в котором только ковш Большой Медведицы казался реальным и оповещал об изначальной щедрости замысла. Жизнь являла себя безмолвной, продолжалась в нем, поднималась вместе с прежним биением сердца, алой пульсацией аорты, тихими токами артерий, она совпадала с течением мысли и растворяла ее в себе, ибо понимать было не нужно. Но нужно было знать, и он знал, что в эти минуты жизнь и он сам — одно.

На следующий день они возвращались, когда темнело, и Герман заметил вслух, что Мурманск с сопкой похож на горку углей, а его порт — на дымящийся котел супа.

Они расстались, обменявшись адресами:

Герман открывает глаза и поражается тому, каким бессмысленным становится взгляд женщины, когда она красит ресницы.

Аня стоит одетая, в руке зеркальце.

— Слушай, — говорит она, — прокатимся сегодня к Сеньке. Он нас приглашал. Специально будет ждать. В Ленинград не поехал.

—Нет.

— Нет, так нет.

И Аня уходит, спешит по малолюдной набережной, легко идет по Невскому, среди толпы, там, где белые чулки уличных модниц напоминают ей об абортках.

"Как далеко теперь все от меня. И Аня, конечно, не приедет", — думает Семен, ступая по выложенному каменными плитами, которые даже летом не бывают вполне сухими, коридору первого этажа школы. Звук его шагов где-то вверху под сводчатым потолком преобразуется в монотонные всхлипы. Он останавливается у окна и медленно смотрит на кроваво-желтую листву старого клена, на черные вмятины от колес в сырой траве под ним.

"Любовь это или не любовь, но если она приедет, то должна ведь остаться ночевать? А дружба, сие священное чувство, коего благородный пламень?.. Что ж, мы скажем ему обо всем. Эх, если бы обо всем."

И Семен верит в легкую свою любовь и не помнит, что от удачи он и на этот раз застрахован. Есть тому залог. Правда, и неудачи сейчас бояться не стоит — она "благородно" подразумевается — ведь Аня жена его приятеля, друга, так сказать, детства.

"Когда же и под какими кленами, то есть на какой странице, кончилось это детство, если я с тех пор ничего не нашел. Будь оно..."

Холодные стекла отражают в это мгновение сумеречную протяжность коридора, и его пустота обрушивается на Семена со спины.

"Ах, какая тоска здесь наступит зимой!"

Передернув плечами, мимо эмалированных табличек на дверях классов, мимо обитой дерматином двери директорского кабинета он проходит в учительскую.

В учительской накурено и тепло, но кроме Саши, физрука, перед которым в пепельнице лежит скомканная пачка "Памира", никого нет. Семен с облегчением здоровается и проходит в угол к полке с журналами. Перелистывая их, он думает, не единственное ли это достижение в его жизни — вместо того, чтобы получать, самому ставить отметки. "Не слышком, впрочем, сложная задача: считать от одного до пяти."

Дребезжание звонка, возникнув в дальнем конце коридо-

ра, быстро наполняет пронзительным переливом здание школы и пропадает в стуке хлопающих дверей, визге младшеклассников и топоте ног. В учительской преподаватели появляются бесшумно, и только директору школы Игнатию Романовичу Вдовченко, историку, дверь салютует, как бы напоминая о его славном фронтовом прошлом. В руках у него свернутое в трубу объявление, и с ним он молча подходит к стене.

Для человека седеющего Игнатий Романович, пожалуй, излишне вспылчив и голубоглаз. Он говорит о себе, что любит "резать правду-матушку в глаза", хотя чаще ругает тех, кого в глаза не видел. Он носит фабричного производства серый костюм, пристегивает, перед тем как идти в школу, галстук и давно не надевает никаких военных регалий. Только раз в году, дома перед рождеством, открыв замечательную коробку из-под духов "Белая сирень", он достает круглые медали с профилем Иосифа Сталина и разглядывает их с обеих сторон, не совсем, впрочем, трезвый.

За глаза директора все, в том числе и ученики, зовут, конечно, Романычем, но это никому не мешает побаиваться его официальных речений.

Как пловец, пересекающий широкую реку, он разглаживает двумя руками по стене свое объявление. Его искалеченный на фронте мизинец правой руки крючком вывихнут в сторону и витает над поверхностью листа как легкомысленный вопросик. Этот мизинец всегда привлекает внимание в первую очередь, заставляя не относиться к директору всерьез. Бывший фронтовик с этим в конце концов свыкся. Даже стал иногда добродушен.

"...состоится лекция на тему: МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ", — читает объявление Семен и не реагирует никак, потому что с первого дня в школе контакта с директором избегает.

Тогда, перед первым уроком Семена, Романыч сказал ему в своем кабинете:

— Да, знаете, я хотел... это, ребята у нас простые, а отчество у Вас, вообще, трудно и произнести. Может, для ясности будем Вас Георгием звать. А то ребята у нас простые,

городских слов не знают, им и выговорить такое будет трудновато...

Семен печальными глазами посмотрел на директора, и оба они замолчали.

"Вот, наконец-то! Какая славная простота!" — подумал он и даже улыбнулся, отчего губы его стали плоскими.

— Впрочем, это Ваше личное дело, — заключил беседу директор.

Не только отчество, но и имя Семена, как ни странно, вызывало порой необычную реакцию. В университете его звали Сенькой, а преподаватели почему-то Сашей. Может быть, потому, что на первых курсах он был отличником.

Романыч Семена недолюбливает, как недолюбливает всякого человека, окончившего университет в юности. Кажется ему, что все эти молодые люди получают образование так рано только потому, что отсиделись в тылу, а, возможно, и просто дезертировали, в то время, когда он под Минском из окопа, на четверть заполненного водой, по глине, пудами прилипавшей к сапогам, от злости едва не плача, со скоростью пешехода бежал, задыхаясь, в атаку. Конечно, он говорил себе не раз, что этим молодым людям было тогда не больше пяти лет. Но поделаться со своим чувством он ничего не может, а мозг его в такие минуты тяжелеет, как будто его заполняют цементом. Больше того: представляется ему, что возраста Семена парни из его поселка под Минском были...

О школьниках Романыч думать пренебрегает, но любит их за малость.

— Не та теперь мысль у ребят, не та, — говорит он, прикинув, наконец, объявление. — Нет того размаха, что в наше время. Задаю им сегодня вопрос, какие они знают формы коллективного творчества, чего они только не нагородили. Один Лихоманов из 10 "б" ответил как следует.

— А как следует? — спрашивает Саша, физрук.

— То есть как? — удивляется Романыч. — Строительство социализма! Да, молодой человек, вот в наше время...

— Когда сажали, — очень явственно, хотя и не громко, вырывается у Семена.

— Товарищ, ведите себя культурно, — хмурится и багровеет в нарастающей тишине Романыч. — Я знаю откуда подобные ветры. Все это, как его... "Из жизни Ивана Солженицыча". Читали, небось? Там еще один всего день описан.

— Читал.

— Так это к теме ваших уроков не относится. И покончим... Друзья! — обращается он к присутствующим так неожиданно звонко, что слегка вздрагивают преподавательницы. — Один наш ответственный работник и товарищ, бывший учитель, уходит на пенсию. Предлагаю подарить ему от имени коллектива школы бюст Ленина. Во весь рост.

— Это мысль, — говорит Саша, физрук.

С чем облегченно и соглашается аудитория.

Когда Семен идет на урок, он чувствует во рту привкус крови. Это ощущение преследует его постоянно и особенно сильно по утрам. Он поднимается во второй этаж и, благо никого рядом нет, сплевывает прямо на каменную ступеньку лестницы. Брезгливо глянув на табачно-розовое пятно, Семен проходит по коридору. Ему немного холодно.

Девочки с первых парт встают, едва Семен открывает дверь. Обитатели дальних скамеек скорее нагибаются, чем поднимаются, и садятся, пока он выдвигает из-за стола стул.

— Садитесь, пожалуйста, — говорит Семен.

Он не различает учеников порознь, а видит всех вместе, вообще.

Рассказывая, он смотрит поверх голов, а когда слушает, то какая разница, из какого угла раздается громогласный лепет отличника. Впрочем — это известно — на его уроках разговаривают больше, чем на других. Но ведь все так, шепотом. А иногда и о литературе.

— Сегодня заключительный урок по Некрасову, — говорит Семен. — Начнем повторение. О роли Некрасова в литературном движении эпохи расскажет, — Семен смотрит в журнал — у кого нет отметок: Громыко.

Из-за парты в дальнем углу у окна поднимается блондин призывного возраста с полным ртом в беспорядке натыканных зубов.

— Меня сегодня уже спрашивали, — говорит он.

— Да, его сегодня уже спрашивали, — подтверждают девочки с первых парт.

— Ну и как?

— Два балла, — несколько воодушевляется Громыко.

— Что ж. Кто ответит вместо Громыко?

Семен обводит глазами класс, но ни одного ответного взгляда не встречает.

— Придется Вам, Громыко, — говорит он.

— Некрасова воспитала с одной стороны мать, — потупясь говорит Громыко, — а с другой стороны Белинский... Великий критик перевернул всю жизнь поэта, направил его на истинный путь, помог Некрасову найти самого себя...

Последнюю фразу Громыко говорит невыразительно быстро, и Семен поднимает глаза от журнала. Громыко запинаясь и трет пальцами лоб, лицемерно изображая процесс мышления.

— Некрасов, — продолжает он неуверенно, — Некрасов... первый в русской поэзии изобразил... сравнил... красоту русского пейзажа... русской природы... с пейзажами Запада. Он восклицал в стихотворении... в одном стихотворении он воскликнул...

— Что же он воскликнул? — спрашивает Семен и поворачивается к окну, сознавая милосливность своего поведения.

— Некрасов восклицает, — уже более уверенно говорит Громыко. — Все рожь кругом, как степь живая, ни замков, ни полей, ни гор...

"Господи, неужели я бормотал то же самое? И, в сущности, не так давно..."

Неслышимый дождь за окном падает куда-то далеко вниз, в какую-то серую пустоту.

— Странники "искусства для искусства", — слышит Семен как бы из-за стены, — в частности, современник Некрасова Тютчев, утверждал, что поэзия должна примирять людей с уродствами жизни...

"Это еще кто чей современник?", — с неожиданной злобой думает Семен и, не отворачиваясь от окна, говорит:

— Громыко, закройте учебник и ответьте на вопрос: Гра-

жданская это или не гражданская позиция "примирять людей с уродствами жизни?"

— Негражданская.

— Почему?

— Потому что "искусство для искусства".

— Где же тут "искусство для искусства", если надо примирять с "уродствами жизни?"

— Понял.

— Что Вы поняли?

— Что гражданская.

— В чем же тогда своеобразие Некрасова?

— Он верил в светлое будущее, а эти нет, были пессимистами, воспевали тоску.

— Ладно, Громыко, садитесь. Сегодня я Вам не поставлю ничего. А в светлое будущее, — говорит он, забывая о Громыко, глядя вверх голов, — верили тогда все поэты. Только по-разному его понимали. Может быть, Лермонтов не верил... Но тосковали все. С т о с к и и начинается гражданский поэт. Тоска, вырываясь наружу, становится яростью. Творческой яростью.

**Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчины своей.**

Вот, что дал русской поэзии Некрасов. Это стержень его творчества. И он первый поэт с таким стержнем. Для русской поэзии это стало непреходящим. Тем, что не выветривается со временем. Александр Блок сказал однажды: "Любовь к родине, любовь к ее будущему всегда подразумевает ту или иную долю священной ненависти к ее прошлому и настоящему." Блок не "пересказывал" Некрасова. Это его собственные мысли. Но здесь осуществилась п о д з е м н а я связь, которая соединяет Некрасова с каждым настоящим поэтом, пришедшим после него...

— А есть и прямая, рациональная связь, — опуская глаза, говорит Семен. Он встает, машинально начинает расхаживать перед партами, останавливается у окна.

— Вы ее поймете. Сразу:

**"Те же росы, откосы, туманы,
Над бурьянами рдяный восход,
Холодеющий шелест поляны,
Голодающий, бедный народ..."**

— Андрей Белый, поэт...

Семен оглядывается на класс и неожиданно замечает слезы в глазах девочек с первых парт, которые решают "запомнить на всю жизнь".

Он вновь отворачивается к окну и долго смотрит на Волхов, на нежную муть реки под дождем..

Он знает о рябинах на противоположном берегу и о том, что когда-то Волхов был великой рекой.

А жил на ней Державин.

6

"Все-таки куда лучше лежать с женщиной в будний день, когда все работают, чем в выходной. Почему бы это?" — размышляет Герман в теплом полусне...

Ах, не надо отвечать на такие вопросы...

...В шестом часу вечера, торопясь на электричку, вместе с Аней и Семеном вбегает на платформу Витебского вокзала. Проскочив мимо последнего вагона, внутри которого бродят трое, оказывается в следующем, пустом, садится в углу, вскакивает, смотрит из тамбура. Перрон безлюден. "Странно. Ведь сегодня суббота."

Возле дверей стоит человек в серой железнодорожной форме с бескровным лицом. Явно кого-то ожидает. Подходит Семен.

— Садись на мое место, а я ее подожду. Семен молча выбирает тот же самый, наподобие скважины, угол. Вдоль последнего вагона назад. Ани нигде не видно. Оборачивается. Через перрон проскакивают двое в серой форме, и двери быстро и бесшумно закрываются за ними. С ужасом понимает: Аня в поезде. Раскосый ухмыляется за ветровым стеклом, показывает на вокзальные часы. По расписанию электричка ушла две минуты тому назад.

"Быстрее. Остановить. Бандиты." И ни души... ни души... Не души!..

Лишь со всеми своими проводами, всеми черными проводками нависают сумерки, и поезд ускользает под ними, вытягивая полотно из-под ног.

Летающими шагами вслед, вослед, след в след.

Прыгает, уцепился, прикивает к обшивке вагона. Сразу же нарастает скорость и ясно — не соскочить. Нет уже пригорода, нет станций, не видно ни домов, ни полей. Не видно земли. Воздух разрывается на серые полосы, на ленты, на нити, перестает быть ощутимым, все больше и больше разжижается в прозрачно-ледяном.

Тогда в вагоне слышится простой без акцента голос: — в бросить из окна предмет полегче — вдоль — его и сшибет.

Черная дыра появляется впереди: туннель.

"И никогда не вернешься."

Черный свет брызжет навстречу, нарастает беззвучной лавиной. Она стремительно наплывает, развертываясь в полете, и... сатиновые мужские трусы залепляют ужасом открытые глаза.

Герман сбрасывает с себя одеяло в холодном поту.

И сразу же ему — душно.

Он вскакивает, открывает форточку. Редкий дождь идет за окном. Струйки с деревянным звуком скатываются по цинку водосточной трубы. Переполненный речной трамвайчик стоит у причала.

Герман подходит к телефону, набирает номер.

— Аня? Ты предлагала поехать к Сеньке. Поехали... Да, да! На вокзале. Сразу же.

— Ну и жизнь, — бормочет он, одеваясь, — ни на кого нельзя положиться. Даже на самого себя.

Это его веселит, и из квартиры он уходит в раздраженном воодушевлении.

Напевая, благо рядом никого нет, изрядную песенку "Здравствуй, Зоя", по широким каменным ступеням широкой лестницы он — та-ри м-пара-ра-бйя — вытанцовывает на мокрый тротуар.

В розовом шерстяном костюме и в туфлях на низких каблуках Аня Некрасова чувствует себя уверенно элегантно даже в плаще, который — она это знает — в городе не единственный.

Из лаборатории она выходит на Малую Садовую, по которой вечно снуют народ, придавая этой улице сходство с базарной площадью. Поколебавшись, не выпить ли в Кулинарии кофе, издали улыбнувшись памятнику императрице ("Что это там она держит в ручке?"), Аня решает изменить ставший привычным маршрут.

"Пускай Екатерина с поклонниками присматривает за всеми этими фарцовщиками. На то она и великая. А современная красивая женщина должна оставаться раз в день со своими мыслями одна. Хотя бы для того, чтобы они у нее появились. Кажется, так недавно выразился ее муж. В прошлом году он бы этого не сказал. Но он прав. Каждый вечер — полчаса свободы. Все-таки хорошо, что я пришла тогда. Хоть он и не был трезв."

— Приходите, Аня, — вспоминает она прошлогодний голос Германа, их первый телефонный разговор. — На улице тепло, как в оранжерее. Цветут розы! Понимаете — в середине октября!

— Это у Вас в мозгу цветут розы, — ответила она.

И пришла.

Воздух был таким густым от осеннего тепла, что почти казался голубым. А если бы у него действительно случились розы, она оставила бы его у себя в тот же вечер*.

Было это ровно год назад, У высокой глухой стены между портиком и манежем в маленьком садике, таком маленьком, что в нем можно лишь покурить, он уговаривал ее хлебнуть из уже наполовину пустой бутылки рябины на коньяке и уверял, что они во Флоренции. Ритуально исполненный обряд приставания не привел ни к чему, но вела она себя при этом на удивление терпеливо и внимательно.

* Впрочем, это и так произошло достаточно быстро: мы не успели даже перейти на "ты". (Прим. Ани Некрасовой).

"В самом деле, ведь это что-то итальянское: портик Руска, манеж Бренна, за Фантанкой — Кваренги. Если только все они итальянцы", — думает Аня.

Но имена мертвых ничего не значат для молодых женщин, и лишь стебли плюща, или дикого винограда (автор не ботаник), сползающие по стене темно и извилисто, как трещины, могли бы придать старомодно блаженный смысл всему, что случилось. Но еще со времен первой своей любви Аня отличалась рассеянностью и к тому же была близорука.

Заметный на фоне стены дождь падает сейчас на прошлогодний садик, и Аня проходит мимо него и мимо сквера в конце площади, где неживописные ленинградские подростки ("вездесущие мальчишки", как говаривал, непристойно запинаясь на звуке "с", один бывший анин приятель) играют между скамейками в футбол сырым волейбольным мячом.

Ане все еще приятно идти одной. Хотя она и замечает с удовольствием, как голубой провинциал в распахнутом плаще, едва не зацепившись за бампер победы, перебегая дорогу, успевает оглянуться на нее ("Бедный славный мальчик!").

И благо никого рядом нет, Аня, свернув к Невскому, на серой улице без газонов и деревьев, думает о том, что и с Герой у нее будет все хорошо. Ведь она честна, и он тоже... плут, и вкусы у них совпадают (по крайней мере ночью), и, вообще, теперь, даст бог, она не окажется в тридцать лет одна. В конце концов, это не так уж мало — состариться вместе.

"Эх, мама! Все будет хорошо. Даже если ничего хорошего не будет."

Так она и идет по Караванной мимо пустых холодных подворотен. Фаллического вида гранитные столбики у стен в который раз привлекают ее внимание. Их назначение было загадкой для Ани всю жизнь.

Пустой говорок, сырой пар стремительной толпы проспекта, желтые листья на решетке люка (вот подплывает следующий), блуждание синих троллейбусов, тусклый блеск клод-

товских коней,* привычная, незаметная высота моста. Ане всегда казалось снобизмом не любить Невский, как это случилось со многими ее прежними друзьями, апологетами Васильевского острова или Петроградской стороны. Идти по Невскому для Ани — это означает быть свободной.

Какой-то хаос вершится в это время над городом. Не то темные облака, не то светлые тучи, не то все это вперемежку, горами движется по направлению к заливу, а там, на западе, время от времени прощально обнажается голубое небо. И непонятно — идет дождь или нет.

8

Германа Полякова после университета послали в газету, а не в школу, но он не считал, что ему повезло. Зато так считали его соученики. А это приятно. Поэтому можно полагать, ему повезло. Как и всегда в жизни. Как и сегодня в кафе-автомате на углу Невского и Рубинштейна. Во всяком случае автор с удовольствием опишет следующую сценку, не будучи, между прочим, ни Зоценко, ни приверженцем школы какого-нибудь там "физиологического очерка". Боюсь только, что потом он немножко взгрустнет — ведь ему самому вряд ли удавалось когда-нибудь снисходить так живо до маленьких прелестей бытия, как его героям.

На пути к вокзалу Герман заходит перекусить, съесть всего-навсего сосиски с капустой, которые ему нравятся именно в этом кафе (трогательная привязанность к воспоминаниям детства: здесь когда-то Гера первый раз получил свою первую порцию самостоятельного, без помощи взрослых),

Вообще-то, местечко не ахти. Когда бы ни зашел, хочется спросить: который час? Такое ощущение, что время здесь бывает только позднее. Даже в очереди, стоишь себе, казалось бы, так нет — опять какая-то спешка. А все, наверное, от освещения, очень тусклого, всегда электрического. Да еще из-за горчицы в граненых стаканах по столам.

* Парадоксальный случай умаления Человека над Животным. В клодтовской группе на Аничковом мосту везде присутствует Человек. Идея скульптора — укрощение Человеком стихии. Однако, все, в том числе и наш автор, говорят почему-то о клодтовских "конях". (Прим. критика).

Однако, парня в лондонке явно ничто не удручало, ни в кафе, ни в жизни, когда он продвигался в конец очереди, еще издали радостно улыбаясь тому, за кем нужно встать.

"Какой замечательный человек, — думает Герман, — ботинки — хорошие, австрийские, вид — плохой, русский... Интересно, как он спросит: кто последний, или кто крайний?"

— Маленькую пить будем? — спрашивает, взамен всего, Германа парень, как знакомого.

— Нет, — говорит Гера, — выпьем пива.

— Бегу.

— Давай твой чек. Тебе с чем?

— Как себе, — кричит парень уже от пивной стойки, — с капустой.

— Лады.

Не выпуская кружек из рук, парень локтями расчищает от посуды место на столе. Так что пока не уберут, никому рядом не поместиться. Герман понимает маневр и сосиски помещает напротив: и с этой стороны тоже вроде бы занято.

— Понимаешь ли, — говорит он начиная, — я только что из Мурманска...

— Я там был, — кивает парень. — На полуострове Ямал. Получал двести восемьдесят. Сейчас сто пятьдесят. Чуть не замерз однажды. Бля буду. Шел ночью в поселок. На лучи прожекторов. Прямо в небо светили. А если бы не шел, то замерз бы.

— Ясное дело, — говорит Гера, — беру еще по одной.

— Между прочим, — говорит парень, — кирять можно каждый день.

— Ага, — говорит Гера, — я еще сегодня кирну.

— Ага, — говорит парень, — прорвемся. Я за всю службу не имел недоразумений по вопросу пьянки...

Не торопясь, они опрокидывают по второй и молча едят свои сосиски. Молча, но понимая друг друга.

— Так маленькую не будем пить? — говорит парень, поев.

— Нет, — говорит Гера.

- Тогда я, между прочим, пошел.
- Ну, будь, — говорит Гера.
- Пока, — говорит парень.
- Пока, — говорит Гера.

Пока

Нет веточек. Нет веточек на Московском вокзале, вот беда. Под деревом он выглядел бы живописней, этот небритый субъект, каких обычно описывают простодушные беллетристы. Свои набитые опилками попугайных расцветок мячики на гнилых чулочных резинках он мог бы развесить вокруг себя, а не держать их, как нищий, перекинутыми через протянутую руку.

— Ленинградский раскидайчик! Красиво ребятам! — кричит он редко и отрывисто, косясь на Аню, стоящую рядом под тем же самым несуществующим деревом.

— Четверть века живу на белом свете, — говорит она появившемуся Герману, — и впервые встречаюсь с таким оболтусом, как ты. На сколько же можно опаздывать?

— Ничего на этом свете белого не вижу. Сама посмотри. Серым-серо. И каплет.

— О господи, опять твое пиво! Пойди хоть билеты возьми.

— Взял уже. И выпивку тоже.

— А можно я тогда напьюсь?

— Не надо, Аня. Что за глупости. Подумаешь, опоздал.

— Ладно. Пойдем ближе к паровозу. Мне нравится его слышать, когда едешь. И даже гарь. Если не в глаза...

Стоит уехать куда-нибудь к вечеру, как за окном моментально стемнеет. Мчишься ты, что ли к этой темноте? Плавно и сильно, как налетевший шум дождя у острова Мьялорка, стремится их поезд на Волховстрой. Прелюдия каплей возникает внезапно под стук колес и обрывается как порыв ветра. Близкий багрово-серый горизонт окраины проступает за окном. Свет, подрагивая, зажигается в вагоне. И тогда можно смотреть на стекло с изображением потемневшей желтой лакированной коробочки купе, в которой тебя нет, хотя ты и разглядываешь чужой, любимый профиль. А можно снова

смотреть с к в о з ь стекло на разлетающиеся рельсы полотна, на яркую рекламу уже дальних проспектов.

Сады, вода появляются за окном, старая проселочная дорога с лужами и травой ниоткуда сворачивает к насыпи. Вместе с поездом она мчится и замедляет свой бег, останавливаясь внизу под липами, даже птицам ненужной аллеей. По сентиментальным законам предместья ее копирует партнерша по другую сторону платформы с надписью ФАРФОРОВЫЙ ПОСТ. На перроне, в размазанном сумерками свете двух фонарей, рядом с пустой скамейкой неловко стоит человек, долгий час ожидая несчастья. Мокрые веточки нежно блестят за железной решеткой ограды, а за ними, как в чужой стране, незыблемы и голубоваты очертания потемневших от времени и гари двухэтажных кирпичных домов.

— Вот в таком пригороде, с таким названием должен жить молодой, никому не известный гениальный прозаик, — говорит Герман. — Но в пригородах вечно ждут чего-то.

— Это было бы замечательно.

Плавный толчок перекачивается от вагона к вагону, и поезд уходит дальше. Неловкий человек поднимает глаза. В недоумении и тоске он провожает взглядом три хвостовых огня.

Зимой уедем мы в вагоне розовом и скромном среди подушек голубых.

— А ты сам бы хотел жить здесь?

— Нет, нет, что ты!

Аня улыбается, и Герман смотрит на ее худые, милые губы, проводит рукой по колену и выше...

— Слушай, почему всем мужчинам так мало надо?

— Что значит — всем?

— Ну, тебе, тебе... Как дети — лишь бы потрогать.

— Если тебе неприятно...

— Нет, почему же. Но ведь мы уже, слава богу, женаты.

— Да, слава богу, — говорит Герман, и весь пыл его исчезает.

"Ах, это ничего", — думает Аня мягко, с отчасти культи-

вируемой, а потому приятной утомленностью женщины, вышедшей замуж недавно.

Поезд идет высоко по насыпи мимо поселка, который кажется почему-то очень далеким. Неподвижное пятно света от электрической лампочки на высоком деревянном столбе проплывает где-то внизу. Как странно ее сияние, недостигающее земли! Какие утлые деревья, палисадники, дома без огней! Как, быстрее, чем в перспективе, сужается немощная улица с тропинками вдоль заборов! Как не хочется ставить восклицательных знаков — ни коровы нигде, ни пьяного, ни собачонки!

Так в оконные рамы случайного, но со строгим графиком, поезда смотрит XIX век, затемненный, с голубым движением внутри. Но и этот пейзаж заштриховывают елочки, а потом он совсем чернеет и навсегда уходит назад. Как и на самом деле навсегда ушло от всех нас прошлое столетие.

9

"Ныне, когда в нашей стране восстановлены правда и справедливость, восстановлено и доброе имя Раскольникова," — читает Семен, входя в свою комнату с развернутой газетой.

"Так, так. Славное начало. Чей-то, кажется, был муж, — думает он, пока ему не удастся, предварительно измяв, соединить листы (прижатый к боку портфель выскальзывает на пол).

Он ложится на кушетку. У тети Шуры за стеной становятся слышными ходики. "Ты-кто, ты-кто, ты-кто," — выстукивают они. Какие-то русские мысли теснятся в голове: "Пошли они все... Выпить, что ли... В кино бы пойти с буфетчицей... А потом..."

Потом он садится, снимает очки, надавливает косточками пальцев на глаза. В таком положении, ссутулясь, упершись локтями в колени, он сидит долго, пытаясь об Ане не думать, а только произносить ее имя.

"Конечно, не приедет, — говорит он себе, — конечно, не

приедет. Зачем ей ко мне приезжать? А приедет, так с Герундием. Тоже мне, "голубой герой".

"Все они карьеристы. И ничего не могут," — думает он о своих университетских приятелях, из общества которых, наминавшего ему тонущий корабль, он бежал первым.

"Ну, положим, Гера не карьерист. Ну — может. Но неужели она — для него? Нет, нет, нельзя же так, господи."

Семен в каком-то тоскливом возбуждении начинает бродить по комнате, но вскоре останавливается у окна. Лужица среди травы привлекает его внимание, и он без всякого смысла рассматривает ее, поникнув, словно квяточек в мутной воде.

Впрочем, пора покурить. Читателю тоже. Ничего, собственно, не произошло. И вряд ли что-нибудь случится. Так — кризис чувств. Вибрация темных струн солнечного сплетения. Мир беспокойной тоски. Мир субботы. Мир одного вечера.

Сигаретка летит в лужицу за окном. Как не помнить Семену то чудное мгновение, когда она, сокровенно шепнув что-то в воде, гаснет. Всего лишь один жест, а как решительно и просто за ним приходит покой.

Пальцы перебирают книги на столе, пристраивают их ровной пирамидой в углу, ближе к стенке. Сверху оказывается миниатюрное, только что вышедшее с иллюстрациями Фаворского, издание "Новой жизни". Ее глянцева суперобложка источает какой-то сладковатый, кремовый, южный аромат. Он так нежно обволакивает алые и белые тона, явленные у Данте, что Семену жаль становится открывать книгу, и он подбирает с пола газеты, посмотреть, что же все-таки творится там, не у нас. Но и на Западе, видно, осень. "Хмурое небо, если судить по сводкам погоды парижской печати, — читает он, — висит над районом замка Малагар. Франсуа Мориак пишет "Блокноты" и читает верстку "Де Голля".

"Да, славный, мать его так, славный стилист, " — размышляет по этому поводу Семен.

В нечистых сероватых сумерках за окном становится различим свет горевших весь день фонарей. Порыв ветра сметает с деревьев на дорогу лавину листьев. Тяжело и косо они скользят к земле. Верхушка березы в палисаднике со-

всем обнажена и кажется Семену какой-то скрюченной лапой. Да и сама береза похожа на опрокинувшуюся птицу, мертвые желтые перья которой раздуваются ветром. Фонарный столб рядом с ней неподвижен и громоздок. А жестянка с лампочкой на нем раскачивается монотонно и не в такт ветру.

10

Стучит калитка, знакомый мужской голос слышен в палисаднике, и Семен чувствует, что Аня — здесь. Стучит в висках, медленно опускается сердце, кровь приливает к щекам, некуда деться... Он подходит к столу, к книгам, поворачивается к двери спиной.

— Сеня, гости к тебе, — слышит он в своей комнате голос тети Шуры.

— Гостьев, говорю, принимай. Али что? — с явным любопытством спрашивает она.

— Здравствуй, Сеня, — ясно и негромко доносится через открытую дверь из полутемноты. — Привет!

— Как славно, что вы приехали...

— Так пройти-то хоть можно? — говорит Герман, войдя и повернувшись к Ане, которой подает руку, чтобы она не споткнулась о порог.

— О, господи! Тетя Шура, они тут у меня...

— Да как, ведь, хочешь, — говорит тетя Шура. — В погреб что ли слазить? Принесу чего.

— А мы с собой захватили, — говорит Герман. — Разве что — соленьких огурцев?

— Слава богу, зайцы перевелись, — говорит Семен. — Тетя Шура, как лучше сказать: огурцей или огурцов?

— А бес его знает.

— Теперь велят — огурцей.

— Огурцей, так огурцей. Есть маленько, — говорит она и, наконец, уходит.

— Располагайтесь, я сейчас, — говорит Семен и убегает вслед.

Огурцы, грибы, сало, лук ему очень хочется принести

самому как натуральному поселянину. И чтобы не было никакой колбасы, консервов, ничего "городского". Он даже просит тетю Шуру, чтобы картошку она принесла потом прямо в чугуне (тщетные ожидания: она принесет ее в глубокой тарелке).

— Ну, как было в Мурманске? — спрашивает Семен у Германа, возвратясь.

— В Мурманске было по-разному, — говорит Герман, не задумываясь. — Фольга — цвет севера.

— А это еще откуда?

— Так, наблюдение Паустовского. Ну, а как твоя жизнь?

— В гробу я видел эту мою жизнь, — очень искренне говорит Семен, и они все втроем смеются.

Но по-настоящему Герман веселеет только тогда, когда они садятся за придвинутый к кушетке стол, и колебания, ставить или не ставить водку для охлаждения в ведро с водой, решаются в его пользу: ставить прямо на стол. Потому что день без выпивки для Германа — все равно, что органный концерт без Баха.

— Жаль, нет еще цветов на столе — ко всем сельским прелестям, — говорит Аня.

— А какие цветы ты любишь? — спрашивает Семен.

— Ирисы. А вообще-то розы.

— Да, ирисы, — говорит Семен, хотя в ирисах ему, пожалуй, больше всего нравится ударение на первом слоге.

— А нельзя у твоих соседей попросить сорвать две-три астры?

— Вообще-то можно.

— Аня, никогда ни у кого ничего не надо просить. Даже в шутку. Никто таких шуток не понимает. Давайте лучше придвинем к столу фикус.

— Вечеринка "Под фикусом". Это славно.

— И амбивалентно.

— Так тащите его сюда, — говорит Аня, — мне нравится уют с пошловатым оттенком.

— В выпивке, Аня, ничего пошлого не бывает.

— В выпивке без женщин — возможно.

— Ты все-таки умница, — восхищенно говорит Герман.

Кадка с большим, до потолка, фикусом, перетаскивается из угла комнаты к столу, отгораживая его от двери. Противоположный край стола ограничивает темное, холодновато лоснящееся от электрического света, оконное стекло. Аня с Германом размещаются на кушетке, а Семен садится на табуретку перед ними.

— Если бы я был художником, — говорит Семен, — то стал бы сентиментальным примитивистом и написал бы даму в розовом под деревом юга.

— Прекрасный повод выпить по одной. За нашу розовую даму, — говорит Герман. — Ты с этим фикусом, действительно, как на картинке Руссо. А вместе с Сеней вас должен был бы изобразить Шагал. Ты бы у него в этой избе парила.

— А я и так парю.

— Так воспарим втроем.

Герман берет бутылку и, как всегда в такие мгновения, чуть-чуть отключается.

Чудно и тихо застолье, когда за окном осень. Беззвучно отделяет от сала нежно розовые лепестки нож. В томном изнеможении распластались на тарелке соленые грузди. Перламутровы и жемчужны кружки репчатого лука. Прохладой веет от острых граней нарезанных дольками огурцов. Из какой солнечной лужицы торчат детские шляпки маринованных грибов! Как трогательно хотят прикрыть свои девственные прелести мусором смородиновых листьев и укропа малосольные огурчики! Как драгоценно сверкают вкрапления клюквы в глубинах золотой россыпи квашеной капусты!

Сам автор с удовольствием присоединился бы к этой вечеринке, но его герои не любят проводить время с незнакомыми им людьми.

— А что слышно об Андрее и Кирилле? Обо всех знаю, только о них — ничего, — говорит Семен.

— Знаешь, получается, что мы, вроде, следим друг за другом — кто чего достиг, — говорит Герман.

— Ни за кем я не слежу.

— Ну и отлично. Давай тогда сразу же по второй.

— Я пропущу, — говорит Аня.

— Появятся в городе — сами нас найдут.

С присущей людям ограниченностью, Герман до сих пор не понимает, что добрая половина его знакомых прекрасно может обойтись и без него.

— Как тебе нравится мое жилье? — спрашивает Семен Аню после тщетных попыток придумать, о чем бы с ней поразговаривать.

— Очень нравится. По-моему, за зиму ты здесь в уединении должен что-нибудь написать.

— Я уже написал, сонет. С десятого класса не писал стихов, а тут как-то...

— Прочитаешь?

— Да, я хотел.

— Видишь. Еще жаловался на жизнь, — говорит Герман, закуривая, — а у самого тут болдинская осень.

— Между прочим, ровно сто сорок лет тому назад, десятого октября, Пушкин закончил в Михайловском "Цыган".

— По старому стилю, Сеня.

— По старому ли, по новому, конец все один до сих пор.

— Это точно. Немедленно по этому случаю выпьем.

— А твой сонет ничего?

— Мне нравится, — говорит Семен.

— Тогда салют!

На этот раз не только Гера, но и Аня с Сеней выпивают хорошо, тепло, незаметив.

— Так мы слушаем, — говорит Герман.

— Сейчас:

**Плывет закат. За городом проспект
Пропал, и ельник зеленеет нежен,
И воздух паутинами разрежен,
Ручья быстрее туч осенних бег.**

**На полустанке муторном калек
Хотелось бы представить: неизбежен
Контраст в сонете. Поневоле грешен
Поэт. И одинок его ночлег.**

**Но сердце стукнет в утлой полумгле
Под небом, серым голубой земле,
Где будущим предание багримо...**

**В покинутом татарами Кремле
Полыни запах и мужского грима...
В предместьи он бредит третьим Римом.**

— Слушай, может, ты и на самом деле поэт?— после паузы говорит Герман то, что ему подумалось еще во время чтения.

— Мне очень понравилось, — говорит Аня, — особенно начало. Потом я не все поняла.

— Да, есть сложности, — говорит Герман. — Что, кстати, означает: "серо небо голубой земле?" Разве не наоборот?

— Не знаю. Большая часть планеты покрыта водой. Потом в сумерках вообще в ней есть что-то голубоватое. А осеннее небо бывает такое холодное, серое. Да и в символическом отношении для земли, полной жизни, преданий, надежд (!), небо может казаться каким-то серым, скучным, нетеплым что ли.*

— А-а-а! В этом смысле. Возможно. Для полной ясности — выпьем. Впрочем — "надо гениальничать", как сказал Пастернак.

— Но писал: "Быть знаменитым некрасиво".

— А дальше? "Не это поднимает ввысь." Следовательно, просто более тонкий вид тщеславия, еще большая гордыня гения. Ввысь-то все-таки хочется.

— Мне — нет, — говорит Семен.

— Разумеется, синица у тебя уже в руках. Она — синяя. Журавль же в небе — серый.

— Я с детства об этом думал. И по-своему согласен: лучше синица в небе, чем журавль в руках. Мне всегда казалось: если поймать журавля, он своим длинным клювом непременно долбанет меня в глаз.

— Ничего забота, — говорит Герман. — Зальем по этому поводу шары? Интересно, однако, у меня тоже есть пред-

* Фразу "Под небом, серым голубой земле" вставил в сонет Семена автор. Ему нужно было акцентировать внимание читателя на серых и голубых тонах произведения. Несколько странно, что Семен все-таки пытается объяснить то, чего сам не писал. Он мог бы просто восстановить свою строку, а не следовать воле не известного ему человека. Но обо всем незнакомом Семен привык думать высоко: вдруг тайна и кладезь премудрости — там. (Прим. автора),

чувствие о глазе. На Невском, в толпе, под дождичком мне его выколют спицей раскрытого зонтика. Совершенно спокойно. Какая-нибудь дамочка.

— Никогда не думала, что и у тебя есть комплексы, — говорит Аня.

— Это плохо?

— Нет, нет, что ты, — смущается она.

Теперь на нас одних с печалью глядят бревенчатые стены. Мы брать преград не обещали, мы будем гибнуть откровенно.

— Гера, а как тебе все-таки показался мой сонет? — спрашивает Семен.

— Сказать правду?

— Нет, скажи, что ты думаешь.

— Я тебе уже сказал. Мне интересен не сонет, а то — поэт ты или нет.

— Ты что-то сам заговорил стихами.

— В том-то и дело. Стихами изъясняться нетрудно. Нужны не стихи, а судьба.

— Кто же ее лишен!

— Многие. Женщины, например. То есть у них у всех одинаковая судьба — женская.

— Я заметила, что и у многих мужчин судьба — женская, — говорит Аня устало, гася только что начатую сигарету.

— Да, судьба, судьба, — говорит Семен. — У каждого человека должна быть своя тайна. Тогда жизнь наполняется изнутри, ты становишься индивидуумом, личностью... Все интеллигенты живут по законам Достоевского...

Герман смотрит на Аню, которая с печальным вниманием слушает Семена и с вспыхнувшей неприязнью думает: "Знаю я твою тайну. Женщин никогда не имел — вот и вся тайна."

Гаснет, как это часто бывает в деревне, свет. Качаются и шумят опьяневшие от ветра деревья. Свеча, зажженная на столе, заключает Аню, Германа и Семена в свой радужный круг, за которым трепещет, как крылья бабочки, эфемерная черно-бархатная ночь. Голубой сигаретный дым проплывает сквозь нее к окну и ласкает его холодные стекла.

"Все-таки хорошо, что мы еще собираемся вместе", — думает Герман.

"Все-таки хорошо, что мы еще собираемся вместе", — думает Семен.

"Все-таки хорошо, что мы опять собираемся вместе", — думает Аня.

Семен нащупывает рукой на стене календарь, отрывает листок и подносит его к пламени свечи. "10 октября. Суббота. Восход. Заход. Долгота дня. Восход. Заход." Нежно-серые хлопья пепла.

Аня, устроившись за спиной Германа, уже спит. Ей снится летний парк, аллея, и там, впереди, за солнечной зеленью деревьев, молочный блеск воздуха над водой. Это Нева, и вдоль правого берега ее течение направлено вниз, к Финскому заливу, а вдоль левого — вверх, к Ладожскому озеру.

— Еще осталась маленькая, — говорит Герману Семен. — Давай выпьем.

— Давай. Все-таки настоящая пьянка должна проходить без женщин.

Семен берет с полки бутылку, встает и, торжественно качнувшись в сторону Германа, который старается сидеть очень прямо, разливает ее в стаканы.

Пять лет тому назад погасла свеча, на мгновение озарившая эту идиллию. Она напомнила автору с детства знакомый пейзаж: кривую сосну над Кагульским обелиском в Екатерининском парке города Пушкина. Но это уже для тех, кто когда-нибудь знал, знает или захочет узнать, что такое Царское Село.

В ближайшее время выходит книга Липы ФИШЕРА

"ПАРИКМАХЕР В ГУЛАге"

(перевод с идиш Зельды Бейралас)

275 стр. Цена 40 лир. Чеки направлять по адресу:
ул. Аципорним, 6/18, Рамат-Йосеф, Бат-Ям.

Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ

ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ

стихи 1975 года



**Тане Чудотворцевой,
задавшей мне первую строчку**

Не встретила бы нас Москва дождем,
но лучше уж дождем, чем вязким зноем,
но лучше зноем, чем по ребрам батошьем,
но лучше батошьем, чем сломленным устоем

и ненадежной крышею на трех
от зноя и дождя сгнивающих опорах,
где выдувает сено из прорех
пустой сквозняк, чей звук — не звон, а шорох.

Не встретила бы нас Москва вообще,
но лучше уж Москва, чем холм безлесный,
чем тот сквозняк, ползущий из щелей
зернохранилища развалины бескрестной.

нач. июня

Стихи из одноименной книги, девять стихотворений из которой были напечатаны в журнале "Континент" № 8.

о б р ы в к и

Ни любви и ни разлуки,
просто время все слизнет,
и в задраенные люки
голос мой не проскользнет.

Хоть каким, хоть нарочно неласковым,
хоть чужим, как буддийский храм,
эту кляксу любовь хоть ластиком,
все равно останется шрам.

14 июля

* * *

Эта пасмурная белая ночь,
озаренная мерцанием туч,
эта праздная нерезкая печаль,
припечатывавшая губы сургучом.

Подожди свое сухое ремесло,
чтоб его и пепел ветром разнесло
над гранитом долгим и над оловом вод,
над границей дыши-и-не-дыши,
подожди прощаться с голодом души,
это над тобою влажен небосвод.

14 июля

* * *

Недоверенная весна,
четырёхмерная темница,
сквозь кожу прорванного сна
на грудь просыплется земляница,

на город высыплется мга,
сквозь сон удвоится денница,
в очах улягутся снега,
и леднику очаг приснится,

и подо льдом блеснет блесна,
подтаёт наледь на подушке,
и, разверзая ложесна,
ты разорвешь свои клетушки,

своей теснины берега,
своих созвездий постоянство,
солено-горькое пространство,
ободья погребной кадушки,
борта дощатого струга,

и, приподнявшись от подушки,
швырнешь будильник, как гранату,
в четвертую координату,
в непогребенного врага.

19—20 июля

* * *

Как мне справиться с напастью,
звуков выдержать обвал?
Кто меня такой-то властью
из ничтожества воззвал

и зачем? Для порожденья
бедных недорослей-слов,
для бесплодного уженья
водорослей в море снов.

Кто меня, как рыбу, держит
на невидимом крючке,
ждет — раздастся звон и скрежет,
ручка дернется в руке...

1 августа

* * *

Безымянные, безъязыкие,
как просыпанная зола,
как растоптанная брусника,
как погода на позавчера...

24—25 сентября

Олег ОХАПКИН

СОВРЕМЕННЫЕ СТИХИ

АНГЕЛ

По небу полночи ангел летел
И тихую песню он пел.
М.Л.

В расплаве прозрачной больной синевы
На зеркале тусклом Невы
Плывет предо мной золотое крыло,
Как лотос в воде расцвело.

И крест перед ним отраженный во мгле,
И Ангел с трубой на игле.
И шпиль колокольни пронзает мечом
Неву и сверкает лучом.

И вижу с моста прободенную глубь
И крепость из каменных глыб.
И голубь летает в речной глубине,
В закатной скользя быстрине.

И тихая барка всплывает со дна,
Лишь голубю в небе видна.
И ночью горят от зари до зари
В студеной воде фонари.

И Ангел надзвездный беззвучно трубит
Над сном императорских плит.
И меч, воздымая крыла острием,
Кресту покорило окоем.

И утром, чуть свет, не крыла — пламена
На шпилье на все времена.
И вечером снова трубила труба,
Как будто будила гроба.

И век пролетал, и другой, и другой
Над мутной Невой голубой.
И видел я город светимый на дне.
То — Китеж мерещился мне.

И вещий орел возносился над ним,
Лишь Ангелам виден одним.
И колокол бил с петербургских стропил,
И дождь над собором кропил.

Трубила труба, будто гула глагол
Мне звоны в аорты влагал.
И Ангел таинственный в небо летел,
И в сумраке ветер свистел.

И видел я крылья в былинной воде.
Таких не встречал я нигде.
И в сердце я слышал вострубленный зов
Нездешних святых голосов.

И небо во мне распахнулось, и в нем,
Горя многоцветным огнем,
Студеные звезды пылали в ночи,
Как пламя церковной свечи.

И в теменах мирных струилась Нева,
Огибая свои острова.
И Ангел со мной говорил в вышине,
И я отвечал в тишине.

И слушали звезды младенческий мой
Осмысленный голос земной,
И тихо сияли, и видел я свет,
Какого во времени нет.

1977

В ГЛУХОЗИМЬЕ

Т.Г. Гнедич

Седая стынь. Дымит ледовый лютень.
Мерцает снеговеющий простор,
И ухо рвет оркестр стозвонных лютен —
Студеный жар, куда ни бросишь взор.

Искрят и пышут лютые Стожары,
на дерево влезает Орион,
И сивером свистят во все Ижоры
Бельт ледяной и норд со всех сторон.

Гремучая свирель зимы-владыки
И выюжный Лель оброшенных лесов
Зовут в Аид на голос Эвридики,
Но лютовой сифонит с полюсов.

И нет надежды русскому Орфею
Растрогать лед, сивеющий в снегах.
Но, лиру взяв, и я в душе робею
На опустевших Стикса берегах.

И если бы неверье обороло,
Не тронула б струны живая скорбь,
И на Неве не слышали б Глагола,
Сошедшего звездой в ледовый гроб.

Но дрожью световой пронизан холод,
И лучезарен смерзшийся гранит,
Поскольку светоч веры — звездный Коло
Как диамант Петрополь наш гранит.

1973

В ЯНВАРЕ 1978 ГОДА ВЫЙДЕТ ИЗ ПЕЧАТИ КНИГА

ЭММАНУИЛА ШТЕЙНА

ПОЭЗИЯ РУССКОГО РАССЕЯНИЯ 1920-1977

Это библиографический справочник о произведениях
750-ти поэтов русского Зарубежья.

Цена книги в предварительной продаже — \$6.00.
Нормальная цена книги — \$8.00, включая пересылку.

Заказы направлять по адресу:
E. SZTEIN, 7 Miles Ave., Woodbridge, Conn. 06525. U.S.A.

"КРОВАВАЯ ШУТКА"

Роман Шолом-Алейхема

Перевод Гиты и Мириам Бахрах

- Неожиданный Шолом-Алейхем...
- Наказание без преступления...
- Истина под следствием... Нация перед судом...
- Актуально вчера и сегодня... А завтра?..
- Призрак счастья... Крушение иллюзий
- Захватывающий психологический детектив...
- В переводе — атмосфера оригинала...

Роман состоит из двух частей.

Цена каждого тома в Израиле — 45 лир.

Цена каждого тома за границей — 7 долларов

Заказы с приложением чека направлять по адресу:

Sh. Bahar, P.O.B. 170, JERUSALEM

Окиньте взором окружающий мир, вдумайтесь в жизнь современного человека. Достигнув вершин цивилизации, создав общество изобилия, он обнаруживает в своем поведении все меньше здравого смысла. Справедливость и правопорядок, к которым он стремился веками, повсеместно сменяются бессмысленным хаосом. Борьба за свободу масс оборачивается массовым террором одиночек, перед которым в бессилии отступают правительства и парламенты.

Похоже, что здравый рассудок покидает целые народы, раздираемые бесконечными конфликтами и войнами, а недоверие и разлад так глубоко проникают в душу наций, что о них вдребезги разбиваются едва ли не все мирные инициативы.

... "Этот безумный, безумный мир!" Слова эти, сказанные о нас и нашей эпохе, сегодня уже не кажутся преувеличением.

Однако механизм этого всеобщего безумия так и остается непостижимым для общества, мятущегося в поисках выхода из тупика, а на деле лишь демонстрирующего свое бессилие — подобно больному — не способному поставить диагноз собственного заболевания.

В публикуемой в этом номере статье "Политические неврозы" Артур Кестлер предлагает иной, психиатрический метод объяснения мира. Написанная много лет тому назад статья его и сегодня звучит как грозное предостережение раздираемому политическими неврозами обществу.



Артур КЕСТЛЕР

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НЕВРОЗЫ

Большинство современных теорий о разновидностях политического поведения людей основываются на странном парадоксе. Общеизвестно, что широкие массы обнаруживают склонность к неразумному поведению (и тогда говорят о взрывах "массовой истерии", "массовой ненависти" и т.д.). Столь же общеизвестно и то, что и отдельные лица часто ведут себя иррационально — в области сексуальных проблем, в своих взаимоотношениях с родными, начальством или подчиненными.

Однако, если мы охотно допускаем, что массы ведут себя как невротики в областях политики, а индивиды обнаруживают всевозможные "комплексы" в личной жизни, то мы, вместе с тем, цепляемся за странную иллюзию, что средний гражданин, предоставленный самому себе, ведет себя как политически разумное существо. Все методы, которыми управляются демократические государства, построены на этом молчаливом допущении. Эта догматическая и ни на чем не основанная вера в политическую разумность отдельного лица является в конечном счете причиной, из-за которой демократический

мир в своем единоборстве с противостоящим ему миром тоталитарным занимает всегда оборонительную позицию, и не только в физическом, но и психологическом отношении.

Ибо все указывает на то, что человек двадцатого века — политический невротик. Сторонники тоталитарного режима поняли это с самого начала. Они готовят смерть и гибель нашей цивилизации. Так как смерть питается недугами, то ей поневоле приходится быть хорошим диагностом. Если же мы хотим выжить, то и нам необходимо научиться ставить правильные диагнозы. Между тем, правильного диагноза не поставишь, если априори исходить из предположения, что пациент здоров. Эту веру в политический разум отдельной личности прививали нам многие французские, немецкие и английские философы — энциклопедисты, марксисты, бен-тамисты, оуэнисты — те, кто верил в прогресс всех мастей.

Зигмунд Фрейд и его последователи частично разрушили эту оптимистичную веру в человека как разумное существо. Мы без возражений принимаем сегодня тот факт, что наше сексуальное либидо закрепощено и искажено. Пора понять, что и наше политическое либидо не в меньшей мере загнано внутрь, извращено и заряжено комплексами.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС НЕВРОТИКА

На первый взгляд может показаться, что все эти разговоры о "политическом либидо", о "политическом подсознании" и о "загнанных внутрь социальных стремлениях" — не более как новая интеллектуальная игра, жонглирование аналогиями и метафорами. Однако любое непредубежденное исследование окружающего мира докажет, что невротические извращения политического инстинкта столь же реальны и ничуть не менее глубоко, чем извращения инстинкта полового.

Невротиком можно назвать того человека, контакт которого с действительностью страдает какими-то странностями и рассуждения которого определяются не фактами, а его личными желаниями и опасениями.

Все факты, которые могли бы внести перемены в этот обусловленный желаниями и страхами мир, пациент даже не

допускает через порог своего сознания: он их "цензурирует" и загоняет внутрь.

Если применить эту сильно упрощенную схему к политическому поведению, то легко убедиться, что она сохраняет свою верность для всех областей политической патологии, начиная с "контролируемой шизофрении", скажем, Клауса Фукса* и иллюзорного мира благих пожеланий "борцов за мир", вплоть до бегства от действительности "нейтралистов".

Политические клише, используемые для осмысления неосознанных страхов, имеют столь же малое значение, сколь и объяснения невротика — почему он, скажем, не кушает рыбу. Если Гарольд Ласки писал в 1941 году Феликсу Франкфуртеру, что "СССР пользуется гораздо большей поддержкой в народе, чем любой другой общественный строй", то против такого разврата политического либидо возражать совершенно бесполезно. В данном случае почтенным профессором политической экономии должен был заняться скорее психопатолог.

В искаженный мир невротика просто не допускаются факты, способные нарушить его внутреннюю замкнутость. Ни один аргумент не пробьется сквозь стену казуистики и буфера семантики, обусловленные аффектом отталкивания.

Внутренний цензор в буквальном смысле этого слова охраняет иллюзорный мир пациента от проникновения в его сознание реальной действительности, и работает этот цензор куда ревностнее цензуры тоталитарного государства. Политический невротик носит свой личный железный занавес в своей собственной черепной коробке.

Непереваренные факты, отвергнутые этим внутренним цензором, загоняются внутрь и превращаются в "комплексы". У политического подсознания своя логика, свои симптомы и символы. Уиткер Чэмберс** и Олджер Хисс***, например, перестали быть сегодня реальными лицами; они преобразились в героев символического кукольного театра, где зритель принимает ту или иную сторону не на основе юридических доказательств, а на основе бредовой логики подсознания.

* Клаус Фукс — разоблаченный в Англии советский шпион.

** Чэмберс — америк. публицист, бывший коммунист и сов. агент.

*** Хисс — сотрудник госдепартамента, осужденный по доносу Чэмберса за шпионаж в пользу СССР.

Если же заговорить в присутствии политического невротика о таких "цензурированных" фактах, то он будет реагировать либо необыкновенно бурно, либо отделается улыбкой превосходства, либо будет неистово браниться, либо увернется от фактов скользким и совершенно не относящимся к делу "двоемыслием" — смотря по тому, какова структура защитного механизма, оберегающего его от глубокой неуверенности и неосознанного страха. В противном случае неустойчивое равновесие его иллюзорного мира должно было неизбежно рухнуть, и тогда он остался бы один и без всякой защиты среди жестокой действительности, той действительности, которой даже психически нормальный человек не может смотреть в глаза без страха.

ВЫТЭСНЕННОЕ ЧУВСТВО ВИНЫ

В газовых камерах Освенцима, Бельзена и других лагерей уничтожения было истреблено в конце войны около шести миллионов человек. Это было самое массовое — и организованное — убийство в мировой истории. Когда оно совершалось, большинство немецкого народа могло не знать, что именно происходило в этих лагерях.

С тех пор, однако, официальные документы, книги, кинокартины осветили эти факты с такой полнотой, что игнорировать их образованному человеку уже просто нельзя. И тем не менее среднему немцу вполне удается проходить мимо всего этого.

Во всей своей полноте эта правда так и не вошла в сознание немецкого народа и, пожалуй, никогда туда не проникнет: уж слишком она ужасна, и ей просто невозможно смотреть в глаза.

Тяжесть вины, если бы эту вину осознали, была бы до того невыносимой, она бы до такой степени разрушила чувство собственного достоинства немецкой нации, что полностью парализовала бы ее усилия стать вновь великой европейской державой.

Поэтому многие интеллигентные немцы, не лишённые к тому же и доброй воли, — когда в их присутствии говорят об

Освенциме или Бельзене, — реагируют железным молчанием, на их лицах появляется такое же оскорбленное выражение, какое появлялось у английской леди викторианской эпохи, когда в ее присутствии нечаянно произносилось слово "секс": она ни под каким видом не была готова понять и согласиться с тем, что, как ни крутись, а "секс" все-таки существует и никуда от этого факта не денешься. О таких вещах просто не говорят и точка.

Другие пытаются опровергнуть факты либо приводят один за другим противоречащие друг другу доводы, даже не сознавая нелепость и противоречивость своей аргументации.

Самое любопытное в подобных реакциях то, что неосознанный комплекс вины проявляется и у тех, кто никакого — ни прямого, ни косвенного участия в убийствах не принимал, то есть у подавляющего большинства немцев. Перед законом они неповинны даже в укрывательстве: возложить на целую нацию коллективную ответственность за преступления пусть даже большой кучи злодеев — было бы несправедливо как с юридической, так и с нравственной точки зрения. Однако у "политического подсознания" совсем иной подход к проблеме. Оно автоматически принимает на себя коллективную ответственность как за победы, так и за поражения нации, приписывает себе как честь, так и позор. Главная особенность политического либидо как раз и состоит в склонности отождествлять свою собственную личность с нацией, племенем, церковью или партией; больше того, политическое либидо можно определить именно как неодолимую потребность отдельного лица быть частью какого-либо целого, раствориться в коллективе, испытывать чувство принадлежности к его взглядам.

Если это неосознанное стремление к отождествлению себя с какой-либо социальной группой приводит к приятным результатам, то они охотно допускаются в сознание: каждый немец гордится "нашим Гете", словно тут есть и его личная заслуга, каждый американец с удовольствием говорит, например, о Войне за независимость, будто он лично принимал в ней участие. Менее приятные результаты этого отождествления себя с целым занимают не столь почетное место в созна-

нии того или иного лица. Те же, которые могут вызывать травматический шок, нужно немедленно предать забвению и вытеснить вон. Наш Гете, наш Бетховен, моя Родина — все это неотъемлемая часть его, но наш Освенцим, наши газовые камеры, наша захватническая война — все это следует гнать от себя прочь.

Однако, если вытеснять переживания и загонять их внутрь, то они неизбежно окажут судорожный эффект, независимо от того, идет ли речь об эмоциях политических или половых. И лечение его может быть эффективным лишь тогда, когда эти загнанные внутрь аффекты всплывают и вновь становятся достоянием сознания, каким бы болезненным не был этот процесс. В случае немцев эту операцию смогут проделать, конечно, лишь самые выдающиеся представители немецкого народа, в то время как обвинения и унижения со стороны лишь усугубят дело. Победителю полагается проявить великодушие и забыть, побежденный же должен научиться умению вспоминать и помнить.

КОЛЛЕКТИВНАЯ АМНЕЗИЯ

Французы страдают от несколько иного вывиха, последствия которого, увы, еще видны всем. Когда законное правительство Франции капитулировало после разгрома французской армии в июне 1940 года, большинство французов примирилось с поражением и попыталось найти какой-нибудь *modus vivendi* с немецкими оккупантами.

Средний, политически индеферентный француз видел в этом единственный выход из положения, так как Европа казалась тогда безвозвратно потерянной, а Англия была в полной изоляции.

Когда позже генерал де Голль провозгласил в Лондоне, что "Франция проиграла всего лишь сражение, но отнюдь не войну", жители оккупированной Франции отнеслись к этим словам как к прекрасному пропагандистскому лозунгу, не имеющему никакого отношения к действительности.

В продолжение двух лет французы занимались своими делами, как могли, и жили в относительно мирных и даже

сносных условиях. Лишь очень немногие последовали призыву де Голля и бежали в Англию, чтобы вступить там в его добровольческую армию, или примкнули к Движению сопротивления. И это было только естественно, потому что в то время уже одна мысль о сопротивлении представлялась чистейшим безумием или, в лучшем случае, донкихотством. Неистовые же Ролланы составляли во все времена и у всех народов лишь незначительное меньшинство.

Но, когда в войне обозначился перелом и вдобавок число французов, отправляемых в Германию на принудительную работу, стало все более увеличиваться (были, конечно, и другие причины), — выросли и ряды сопротивления, и к моменту высадки союзников уже от 20 до 40 тысяч французов принимали активное участие в Движении сопротивления, совершали акты саботажа, разведывательные операции. Но и тогда в этом Движении участвовало лишь незначительное меньшинство и самоотверженное мужество бойцов сопротивления содействовало победе лишь весьма незначительно. Францию освободили не маки*, а англо-американская военная машина, британские и американские самолеты и танки.

Предать этот неприятный факт забвению было тем легче, что англо-американские государственные деятели, из соображений такта, старались касаться его как можно меньше, а наоборот — приписывали французским усилиям такую роль, какую они в действительности никогда не играли.

Понятно, что французские генералы и политические деятели старались еще больше, чтобы снова поднять несколько пошатнувшееся достоинство нации и уберечь ее от унижительно-го сознания, что Францию освободили не сами французы.

И вот, не прошло и года, как каждый средний француз преисполнился искренней веры, что Франция никакого поражения не понесла, что добилась она освобождения благодаря усилиям самих французов, и что какой-нибудь мосье Дюпон, был, если разобратся, отважный "сопротивленец", и если бы только подвернулся подходящий случай, он бы это великолепно доказал на деле. Память же о его действительных мыслях и поступках в мрачные годы "интермеццо 1940-1943"

*Маки — участники Движения сопротивления.

была так успешно вытеснена, что этот период и поныне зияет черной дырой во французской истории.

Кстати, лишь этим объясняется и тот факт, что французские коммунисты, открыто творившие с 1939 и по 1941 год государственную измену, призывавшие к капитуляции и называвшие любую попытку оказывать сопротивление немцам "империалистической авантюрой" и "войной ради богачей", стали всего лишь четыре года спустя сильнейшей политической партией Франции: им помогла та же коллективная амнезия. Бесславное их прошлое бесследно исчезло в зияющей дыре национальной памяти.

Таким образом духовная структура нынешней Франции все еще покоится на иллюзии и самообмане. Сначала при молчаливом и всеобщем согласии была создана легенда о никогда не побежденной, а наоборот — победоносной Франции, затем возвели эту легенду в символ веры. Коллаборационисты времен немецкой оккупации и Петэна не только с гордостью носят орденскую ленточку сопротивления в петлице, они еще и вполне искренне верят в свое право носить эту ленточку. Поскольку они искренне восхищаются героями сопротивления и видят в них настоящих представителей национального духа, они начинают бессознательно верить и в то, что они и сами были в тех же рядах. Наш Гете, наш Жанна Д'Арк, мы герои маки — всюду и всегда мы видим одно и то же.

Итак, перед нами процесс, весьма сходный с тем, что произошел у немцев — бессознательное отождествление себя с неким меньшинством, — но с обратными результатами. В случае немцев из отождествления себя с убийцами вытекало чувство коллективной вины, которое нужно было так или иначе вытеснить; в случае же французов оно привело к славе, к невиданной экспансии под громовые звуки фанфар политического либидо.

Однако вытесненная память о действительно имевших место событиях оказывает устойчивое и вредное действие на поведение нации. Фикцию прошлого сохраняют лишь тем, что отвлекаются от действительности в настоящем. Франция из упомянутой легенды никому и ничего не была должна в

прошлом, а потому она не будет никому должна и в будущем. Если ей навязывают какую-то там помощь по плану Маршалла, то делается это в интересах Уолл-стрита. Если во Францию направляют воинские части и оружие, то лишь в интересах американского империализма.

Единственная память об американцах во время войны, сохранившаяся без искажений до наших дней, относится к нередким попаданиям бомб не в цель, а во французские города, что, конечно же, вызывало разрушения и жертвы. И еще к тому, что американские бойцы частенько напивались и охотно обменивали сигареты на мимолетную женскую ласку. А потому: не надо нам больше освобождения по-американски! Оставьте нас, ради бога, в покое! Не надо нам ваших подачек, вашей кока-колы и ваших атомных бомб! Если только вы отстанете от нас, отстанут и русские! Во французских газетах решительно всех мастей можно познакомиться с бесчисленными вариациями все той же темы.

Одно лишь обстоятельство никогда не упоминается, а именно тот трагичный и решающий факт, что физическое выживание Франции зависит от американского запаса атомных бомб. Если принять во внимание это решающее обстоятельство, то все фиктивное здание рухнет, как карточный домик. Если же из мира, построенного на желаниях и страхе, убрать эти иллюзорные элементы, то останется, увы, один лишь страх, невыносимый, загнанный внутрь, страх за Европу, дрожащую, практически без какой бы то ни было защиты, перед русской угрозой.

Поэтому фикцию нужно сохранить во что бы то ни стало. Поэтому необходимо уклониться от действительности любой ценой. Речь, заметьте, идет не о сознательном лицемерии и не о неблагодарности; мы вовсе не хотим также сказать что-либо дурное о французском народном характере. Любая другая нация, подвергшаяся за одно лишь столетие трем нападениям, и каждая семья которой лишилась хотя бы одного мужчины из-за войн, обнаружила бы то же невротическое поведение.

БЕГСТВО ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Бегство от действительности — одна из самых характерных черт современной Европы. В прошлом довольно продолжительное время это был типично английский вывих. Похоже, что англичане приобрели свой действительно из ряда вон выходящий иммунитет перед массовой истерией тем, что они развили в себе невосприимчивость к действительности вообще. Они ловко маскируют этот свой изъян искусством выдавать свои глупости за мудрость, за "sweet reasonableness" ("мягкое благоразумие").

В дни немецких бомбежек над Лондоном Пен-клуб как-то пригласил Луи Голдинга прочитать доклад об американском и английском романе. Не успел он дочитать свой доклад, как завывали сирены. Тем не менее прения продолжались как ни в чем не бывало — "business as usual". Вторым или третьим в прениях выступил милый, затрапезный мужчина в грубошерстном пиджаке (он написал, если память мне не изменяет, биографию какого-то ботаника 17-го века из Уильтшира), и всюду нападал на Хэмингуэя, Дос Пассоса, Фолкнера и кого только нет.

"По моему мнению, — говорил он мягко и весьма мило, — все эти американские писатели страдают каким-то болезненным интересом к насилию. Читая их книги, можно подумать, что обыватель только тем и занят, чтобы разбивать другим людям носы или получать от них по голове. Меж тем, редко кто сталкивается в жизни с насилием. Подавляющее большинство людей встает по утрам, копается в саду...". В это самое мгновение раздался свист падающей бомбы, упавшей с оглушительным грохотом через квартал. И тут же забили зенитки. Наш оратор терпеливо выждал, пока зенитки замолкли, и спокойно продолжал: "Так вот, по-моему, насилие играет нынче в жизни обыкновенных людей лишь весьма незначительную роль, так что писатель, посвящающий всему этому столько времени и места, проявляет прямо-таки бесстыдство...".

Одной из самых характерных особенностей невротиче-

ского поведения — неспособность больного извлекать уроки из пережитого опыта. Над ним словно тяготеет какое-то проклятье, и он снова и снова попадает все в те же запутанные ситуации, совершает всегда одни и те же ошибки. Внешняя политика Великобритании в деле объединения Европы или французская внутренняя политика за последние тридцать лет продиктованы, пожалуй, той же невротической страстью к повторению.

Поводом ко Второй мировой войне было стремление Германии завладеть городом, составлявшим анклаву на польской территории, и к которому можно было пробраться только по особому коридору. Однако война еще не успела подойти к концу, как союзные лидеры решили создать новую анклаву совершенно такого же типа, в которую тоже нельзя попасть иначе, как по коридору, пролегающему на чужой территории. Первая анклава именовалась Данцигом, вторая — Берлином.

За азбучной истиной, что "история неизменно повторяется" скрываются неисследованные силы, соблазняющие человека повторять свои ошибки все снова и снова.

Наглядным примером этой мании повторять ошибки является политика умиротворения: нежелание видеть то, что агрессивная держава, верящая еще и в свое мессианское назначение, будет стремиться все к новой экспансии, как только почувствует политический вакуум; что улучшение социальных условий, при всей важности этого для внутренней устойчивости страны, все же не является гарантией от нападения извне; что цена, которую приходится платить за выживание, составляет очень высокую долю национального дохода, которую на протяжении, увы, очень долгих лет, приходится расходовать на цели обороны; наконец, что задабривание противника и политика умиротворения, как бы убедительно ни звучали доводы ее сторонников, никак не может заменить военную мощь, а, наоборот, может лишь стать прямым приглашением к нападению, — все это, весь этот столь болезненный урок тридцатых годов, казалось, должен быть еще свежим в нашей памяти. И тем не менее, похоже, что поразительно много политических деятелей (не говоря уже о

миллионах обывателей) твердо решили снова совершить абсолютно те же ошибки и пережить еще раз точно такую же трагедию.

"Угрозу войны не предотвратить оружием, ее можно лишь устранить неутомимым стремлением к новому мировому порядку, где бы царили закон и взаимная безопасность... Нельзя бороться с гонкой вооружения тем, что сам готовишь оружие. Стать на этот путь — значило бы изгонять дьявола сатаной". Эти фразы были высказаны Клементом Этли 11 марта 1935 года в Палате общин, когда он протестовал против предложенного правительством весьма скромного увеличения расходов на оборону. (Само собой разумеется, что подобное высказывание можно найти и у консерваторов тех или близких к ним лет.).

Когда позже Этли назвал "ропуск всех национальных армий" блестящей идеей, единственно способной спасти мир между народами, кто-то все-таки не выдержал и бросил в ответ реплику: "Скажите об этом Гитлеру!" Этли поморщился, но тут же предпочел отмахнуться от подобного рода реплик. Точно так же как отмахивался от таких реплик Эньюрин Бивен восемнадцать лет спустя.

В том же 1935 году одиннадцать миллионов англичан, то есть больше половины избирателей, подписали "мирный манифест". Однако все это было полностью забыто, вытеснено и загнано в самые дальние уголки политического под-сознания.

Даже заклинания, посредством которых агрессор усыпляет свою жертву, были в те годы абсолютно такими же, что и нынче.

Гитлер организовывал мирные съезды, на которых члены немецких и французских "союзов бывших фронтовиков" протестовали против заговора "пушечных королей", плутократических и демократических поджигателей войны с Уолл-стрита.

На беженцев, рассказывавших о гитлеровских концлагерях и о его захватнических целях, смотрели как на провокаторов, сознательно сеющих рознь между народами. Точно так же как

сегодня относятся к беженцам и эмигрантам из Советского Союза. Кому они нужны эти Кассандры и Иеремии! Только жить мешают!

После каждого нового захвата Гитлер делал какой-либо новый мирный жест, который спешили принять за чистую монету, как принимали впоследствии пропагандистские жесты Сталина или Маленкова.

Каждого, кто смел поднять предостерегающий голос, всячески поносили и обвиняли в сознательном подрыве мирного урегулирования. Хладнокровные политические эксперты, не питавшие никаких симпатий к нацистскому режиму, предостерегали против непомерного преувеличения гитлеровской опасности, они указывали на то, что, в конце концов, Гитлер предъявляет претензии только на немецкие области — Рейнскую и Саарскую, — но он "достаточно умен", чтобы не проглотить такое чужеродное тело, как, скажем, Чехословакия. Абсолютно те же аргументы можно слышать, начиная с 1945 года, о намерении русских в отношении Западной Европы.

Результатом всего этого было то, что в 1936 году бельгийцы, румыны, югославы заняли "нейтральную" позицию, и система коллективной безопасности начала разваливаться точно так же, как вот-вот начнет разваливаться нынче система европейской обороны.

Невротик, совершая снова и снова одни и те же ошибки и надеясь каждый раз, что авось, мол, обойдется, вовсе не глуп — он просто болен.

ПРОЧИЕ НАРУШЕНИЯ

Почти для каждого вида полового извращения можно отыскать эквивалент в области политического либидо. Мне хочется остановиться здесь только на самых распространенных формах политических неврозов.

А м б и в а л е н т н о с т ь . Человек может любить и ненавидеть другого человека, он может испытывать эти чувства одновременно, либо одно может сменять другое, как это наблю-

дается в случаях темпераментных браков или любовных связей, или в трудных отношениях между родителями и детьми.

Типичные амбивалентные отношения этого рода существуют между Великобританией и США. Американцам нравится английская аристократия, нравы, речь и вообще старомодный английский консерватизм, но они в то же время смеются над всем этим. Англичане по разным причинам относятся к американцам с таким же смешанным чувством восхищения и иронии, зависти и презрения.

Примерно каждые полгода англо-американские отношения портятся, и возникает небольшой политический кризис — в большинстве случаев не из-за столкновения интересов, а просто из-за "нервов". "Нервы" — неотъемлемая часть такого амбивалентного партнерства.

В истории болезни невротиков нередко случается, что какое-либо чувство уступает место чувству диаметрально противоположному: слепая привязанность превращается в столь же слепую ненависть, неумный восторг — в глубочайшее отвращение. Много бывших коммунистов, бывших католиков и иммигрантов испытывают чувство разочарованного любовника по отношению к своей партии, церкви или Родине, которые когда-то были для них всем на свете.

Фетишизм. В психиатрической терминологии словом "фетишизм" обозначают извращение, при котором половой инстинкт связан с определенным символом, вещью или частью реального объекта любви. Женский локон, лифчик, сапожки или даже портрет любимой женщины могут стать предметом такого извращенного поклонения.

Совершенно так же может выглядеть и политическое либидо. Не стоит подчеркивать фетишистский характер таких символов, как знамя, форма, эмблема, боевая песня и национальный гимн. Столь же очевидна польза, которую пропаганда извлекала, скажем, из челки Гитлера, сигары Черчилля, гимнастерки Сталина. Но хотя эти факты массового экстаза известны всем, их все же не рассматривают как патологические симптомы. Между тем, они представляют собой не только шаг назад к примитивному идолопоклон-

ству, к поклонению тотему, но приводят еще и к тому, что объект фетишизации полностью подменяет собой то, что он олицетворяет. И отвлекает таким образом силы общества от первоначальной цели.

Политическое стремление миллионов идеалистов, отправившихся когда-то на поиски лучшего мира, извращается этим фетишем; стремление к прогрессу превращается в преклонение перед "партией", которая рассматривается теперь уже не как средство для достижения первоначальной цели, а как самоцель, как святыня, достойная и настоятельно требующая поклонения.

Затянувшееся созревание. Молодой интеллеktуал-революционер из Блумсбери, Сен-Жермен де-Прэ Гринвич-Виллидж — или из Веймарского Берлина — относительно безобидный тип. Его политический радикализм часто напоминает бунт неоперившегося юнца против своих родителей или другой, такой же стереотипный конфликт, когда он разочаровывается на время во всем и вся.

Однако некоторые из этих молодых радикалов никогда уже не станут взрослыми; они так и останутся вечными недорослями левых убеждений.

Разновидность этого типа нередко встречается как в США, так и во Франции, реже в Англии. Молодой Икс становится сначала пламенным коммунистом, но вскоре разочаровывается, находит троцкистскую оппозиционную группку, насчитывающую с десяток членов, обнаруживает, что шестеро из них создали тайный "оппозиционный блок" внутри самой группы, снова разочаровывается, основывает небольшой журнал со стопроцентной антикапиталистической, антисталинской и антипацифистской программы, погрязает в долги, разоряется, основывает еще один небольшой журнал и т.д. и т.п. Вся его борьба, вся полемика, все его победы и поражения — буря в стакане воды; все это происходит в одном и том же узком кружке интеллектуалов-радикалов, образующих тесную семью, которая просто не может существовать без этих вечных распрей, скандалов и взаимных обвинений, но которую тем не менее спаивает воедино какой-то своеобразный "диалектический клейстер".

Классическим примером всего этого могут служить экзистенциалисты, копошащиеся вокруг журнала Сартра "Les Temps Modernes" со своей вечной взаимной грызней и постоянными расколами. В случае этого сектантского типа уместно говорить о кровосмесительном вывихе политического либидо.

Другим типом является вечно перегруженный "деятель", чье имя фигурирует в списках решительно всех "прогрессивных" комитетов и чей протестующий голос постоянно клеймит какую-нибудь несправедливость. Это человек, который сочувствует любому добродушному делу, но никогда и ничего конкретного так еще и не добился. Игрек — политический эквивалент нимфоманки: он страдает гипертрофией политического либидо. Эта форма невроза тоже "цветет" главным образом в климате левых — именно левые больше чем кто бы то ни было хронически страдают политической распущенностью.

Наконец существует еще и Зет — политический мазохист. Для него высший закон — притча о бревне и соломинке в глазу, только в обратном смысле. Малейшая несправедливость на родине вызывает у него ужасное страдание и отчаянные протесты. Вместе с тем, он легко найдет оправдание для бесчеловечных преступлений, совершаемых в противоположном лагере. Если чемпиону по теннису, у которого смуглый цвет лица, фешенебельная лондонская гостиница откажет в номере, наш Зет прямо кипит от возмущения, если же миллионы заключенных выплевывают свои легкие на каторжном труде в советском Заполярье, то тут его "чуткая" совесть молчит. Зет может быть, таким образом, назван патриотом с обратным знаком; его ненависть к самому себе, его тяга к самоистязанию превратилась в жгучую ненависть к собственной стране или к собственному классу, в тоску по кнуту, которым можно было бы истязать все, к чему принадлежит он сам.

ПОТРЕБНОСТЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Нет полностью нормальных людей — эта психиатрическая аксиома известна сегодня всем. Разница между нормальным

человеком и невротиком — только в степени, а не в сущности. Однако бывают исторические эпохи, когда общественный и культурный климат способствует появлению неврозов и извращений.

В золотой век древней Греции мужеложество было почти всеобщим явлением. В двадцатых годах нашего столетия половой разврат достиг невиданных ранее масштабов. Такие же кривые характеризуют взлеты политического либидо почти до нормального состояния и падения — чуть ли не до безумия.

Но вот на протяжении довольно длительного времени мы отмечаем неуклонную тенденцию политического либидо к падению. В то время как половой инстинкт служит сохранению человеческого вида, политическое либидо удовлетворяет потребность индивида отождествлять себя с идеей или системой ценностей, олицетворяемой той или иной группой людей. Иными словами, политическое либидо отвечает их стадному чувству.

Оба эти инстинкта имеют очень глубокие корни, хотя в последние десятилетия благодаря вниманию, которое фрейдисты уделяют половому инстинкту, значение второго инстинкта как-то забылось.

В средние века человек, несмотря на войны, голод и эпидемии, жил в относительно устойчивом мире. Огромный авторитет церкви, непререкаемая иерархия государства, вера в провидение и божественную справедливость, — все это и вселяло в человека ощущение устойчивости. Потом произошел целый ряд землетрясений, начиная с Возрождения и Реформации и вплоть до Великой французской, а затем — до Октябрьской революции. Все эти перевороты постепенно разрушили как социальное, так и космическое мировоззрение человека.

В средние века жизнь регулировалась не допускающими сомнения, снабженными восклицательными знаками правилами. И вот все эти восклицательные знаки превратились в вопросительные. Земля — некогда центр Вселенной — вдруг превратилась в крутящуюся в космосе экспериментальную лабораторию, все ценности подверглись пересмотру.

все связи были порваны, а политическое либидо разыгралось словно похоть у молодого человека.

Однако поиски какого-то нового всеобъемлющего закона, спасительной всеохватывающей веры, которые определили бы отношение людей как к вечности, так и друг к другу, пока ни к чему не привели. Человек двадцатого века потому стал невротиком, что он не может дать ответ на вопрос о смысле жизни; что он никак не возьмет в толк — где же его место в обществе и Вселенной.

В зависимости от обстоятельств, неудовлетворенный инстинкт может найти свое выражение во множестве форм. Часто у одного и того же человека можно обнаружить самые противоположные симптомы. Продолжительное состояние неудовлетворенности и подавленности может привести к атрофии инстинкта: больной становится равнодушным к обществу, его разочарованность превращается в политический цинизм и антисоциальное поведение. Такие симптомы извращенного политического либидо лучше всего наблюдаются в нынешней Франции. Еще опаснее обратный процесс, когда неудовлетворенное стадное чувство ведет к политической "течке", превращается в слепое самоотверженное служение какому-либо мерзкому "идеалу". В наш век те, кто больше всех сокрушался о потерянном рае, первыми попались в тень всяких эрзацев небесного царства: коммунистической мировой революции и гитлеровского тысячелетнего "рейха". Психолог говорил бы о "фиксировании" политического либидо этих людей на ярких утопиях-заменителях.

Все сказанное здесь отнюдь не значит, что можно пренебречь значением экономических факторов. Никакой психиатр не в состоянии положить конец нищете и эпидемиям среди гигантских людских муравейников Азии. Однако решающее значение имеет здесь то, что перед тем как экономические потребности людей находят свое выражение в политических действиях, возникает еще и духовный процесс, который очень часто обуславливает поведение, прямо противоречащее первоначальным потребностям.

Оптимистические мыслители девятнадцатого века верили, что действия народных масс более или менее совпадают с

их интересами. Двадцатое столетие доказало нам, что даже такой культурный народ, как немецкий, под давлением невротической навязчивой идеи, в состоянии совершить коллективное самоубийство. Одними лишь разумными доводами против таких навязчивых идей ничего не сделаешь. Такова уж природа тоталитарных верований, что они вселяют в своих сторонников какую-то эмоциональную насыщенность, глубокое ощущение подчиненности и принадлежности.

Коммунизм обладает динамикой секулярной религии. Неудовлетворенному и проголодавшемуся он несет, не в пример нашей многоликой и сложной культуре, мощный сексапил, неотразимый соблазн монолитной веры.

Демократия, по самой своей сущности, не в состоянии ни возбудить подобного вождения, ни создавать такие конспиративные орудия, как например, Коминформ, ни противопоставить коммунистическим идеалам таких же призрачных идолов. У нее нет всеобщей панацеи против многочисленных проблем нашей цивилизации. И мы сможем выжить лишь в том случае, если будем не только хорошо вооружены, но и будем в состоянии разбить гипнотическую мощь этого призрака.

Однако первой предпосылкой нашего выживания является правильный диагноз. Можно рассчитывать, что политические деятели обладают хотя бы поверхностными сведениями по истории и экономике. Пора, давно пора потребовать, чтобы они приобрели элементарное знание психологии и научились бы разбираться в тех странных душевных силах, побуждающих людей так упорно противодействовать собственному благу.

"Der Monat" XII. 1953

Перевод с немецкого Михаила Ледера.

Борис СУВАРИН

СОЛЖЕНИЦЫН И ЛЕНИН

"ЛЕНИН В ЦЮРИХЕ" С ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Окончание. Начало см. в 22 номере журнала.

По утверждениям полемистов — ненавистников Ленина, он был послан в Россию в "пломбированном вагоне" не то самим Кайзером, не то Людендорфом, не то Парвусом. Во всех этих версиях нет и слова правды. Как только стало известно о февральской революции, Ленин стал предпринимать шаги, чтобы вернуться на родину через Францию и Англию. Больше того: Ленин отказывается от проезда через Германию. Он обращается к своему корреспонденту в Стокгольме с убедительной просьбой предпринять необходимый демарш в Петрограде, чтобы Совет рабочих депутатов оказал давление на кого следует в Париже и в Лондоне и помог ему и его группе вернуться в Россию. И лишь когда Ленин узнал, что Чернова, прибывшего с документами (которые были в полном порядке) в Англию, насильственно отправили обратно во Францию, он понял, что необходимо ехать через Германию.

Для участников поездки Ленин требовал: право экстерриториальности. Он требовал разрешить проезд всем желающим,

независимо от их политических взглядов, освободить их от просмотра документов и от проверки багажа и т.д...

Более решительный и нетерпеливый чем остальные, которые ждали согласия Петроградского Совета, Ленин поехал с первой группой в 32 человека (19 большевиков, 6 бундовцев, 3 меньшевика-интернационалиста и дети). Поезд не был бронированным, вагон не был запломбированным. Это был самый обыкновенный состав с вагонами 2-го и 3-го класса.

Немецкие военные, люди в политике на редкость тупые, боясь, чтобы опасные деятели не разбежались по дороге, не скупилась на меры предосторожности. Они даже заперли на засовы три двери вагона, для того чтобы легче наблюдать за четвертой, служившей единственным выходом.

Путешественники во время своей поездки отказались от каких бы то ни было контактов с немецкими социал-демократами. Вся операция обошлась без участия Парвуса, хотя последний и позволял себе впоследствии приписывать заслуги: в этом деле де-мы тоже пахали.

Каких-нибудь три недели спустя, не получая ответа от Петроградского Совета, отправилась в путь вторая группа, на этот раз состоящая из двухсот восьмидесяти человек (среди которых, в частности, были Мартов, Рязанов, Бобров, Луначарский, Анжелика Балабанова). Последняя подчеркивает инициативу, которую проявил в этом деле Мартов, и в своей книге "Моя жизнь бунтовщицы" (Нью-Йорк, 1932 г.) пишет:

"Сделка не подразумевала никакого компромисса и никакого одолжения со стороны какого-то правительства... Поезда, которыми мы должны были пользоваться, чтобы пересечь Германию, не были пломбированными, как утверждала глупая легенда, но нам не разрешалось из них выходить, и мы дали обязательство не пытаться вступать в разговоры с немцами, когда поезд останавливался на вокзалах".

Любой человек, который хотел бы знать правду об этом поезде, должен был прочитать очерк "Новые документы об отъезде Ленина из Швейцарии в 1917 году" в журнале "International Review et Social History" (vol. XIX, 1974), издающемся в Амстердаме.

Свидетельства эти представлены и прокомментированы там Сенном с большим знанием дела. Мы находим в этом очерке четырнадцать документов, из них девять по-русски и пять по-немецки.

Было бы очень полезно, если бы Солженицын ознакомился с ними. Он узнал бы, что ни Кайзер, ни Людендорф, ни Парвус никакого участия во всей этой суматохе, поднявшейся в русской эмигрантской колонии в Швейцарии, не принимали. Больше того: в этом деле не было ничего тайного, ничего скрытого. Остаются еще невыясненными или плохо выясненными некоторые второстепенные детали, но следует ли удивляться этому в обстановке хаоса и возни, да еще при непрошеном вмешательстве стольких "хлопотунов". Солженицын понял бы, ознакомившись с этими документами, как неосторожно он поступил, доверившись Земану и Шарлау, которые пишут что угодно, вплоть до опровержения самих же себя.

С первых же страниц своей книги о Парвусе Земан и Шарлау видят в нем историческую фигуру куда более важную и значительную чем Вильгельм Второй, Людендорф или Гинденбург (это похоже на бред). Они пишут о газете "Наше Слово", которую Троцкий и Мартов издавали в Париже, что это пораженческий листок: это настоящая ложь. Они утверждают, что Ленин видел в Парвусе соперника, способного возглавить революционное движение: это абсурдная выдумка. Их книга полна совершенно необоснованных намеков, ложных предположений, бесполезных гипотез, наконец, вопиющей неправды.

С другой стороны, они пишут: "Группы большевиков в России не принимали никакого участия в действиях Парвуса. Их сотрудничество целиком зависело от согласия Ленина, который согласия своего никогда так и не дал". По поводу высказываний Шляпникова о деньгах Земан и Шарлау пишут: "Невозможно ставить их под сомнение". Здесь уже полная неразбериха: следует ли понимать, что Ленин задержал деньги при себе? Для чего? Все это курам на смех! И как по достоинству оценить книгу Солженицына, не исследовав источники, из которых он черпал информацию?

Нет, события, о которых идет речь, не только не "скрыва-

лись так старательно от истории", как утверждает Солженицын, события эти, наоборот — привлекли слишком много внимания со стороны недобросовестных историографов. В этом смысле не так давно опубликованный в журнале "Энкаунтер" очерк заслуживает особого внимания. Его автор как будто бы ничего и не знает о том, что от трехсот до четырехсот лиц совершили тот же переезд, что и первая группа возвращавшихся на родину, и их переезд проходил в тех же условиях. Автор не стесняется утверждать, что Ленин, дав согласие на "пломбированный поезд" (спрашивается: для себя одного?), разумеется, согласился также принять немецкие деньги. Какой блистательный вывод из поразительной по своей ясности предпосылки! И что же делал одинокий Ленин, прогуливаясь в своем личном поезде, переходя из одного вагона в другой, с карманами, набитыми немецкими деньгами, которыми — по собственному признанию Земана и Шарлау — "группы большевиков в России" так никогда и не воспользуются? Загадка? Те же самые авторы объявляют, что Германия финансировала большевиков вплоть до разгрома ее западного фронта, то есть, вплоть до ноября 1918 года. Иными словами, все это было уже в то время, когда коммунисты национализировали банки, захватили в свои руки денежные сейфы, конфисковали огромное количество частного имущества, поставили под полный свой контроль Монетный двор, И в то самое время, по Брестскому договору, Россия должна была возместить военные убытки, которые были определены в сумме 300 миллионов золотых рублей. Подобная непоследовательность даже не поддается комментариям.

Другой, не менее серьезный английский журнал "Сарвей" (том 21, № 4), который вышел в свет одновременно с книгой "Ленин в Цюрихе" опубликовал статью Давида Анина. В ней читаем, в частности: "Согласно Бурцеву, за два года до начала первой мировой войны (то есть в мае 1912-го), Ленин уже вел переговоры с немцами и обещал им, что в случае войны он будет вести пораженческую пропаганду. Бурцев утверждает, что Ленин вел аналогичные переговоры с поляками и с другими нациями".

Солженицын, конечно, не читал и не мог прочесть статьи в журналах "Энкаунтер" и "Сарвей". Так же как он не читал очерки профессоров Сенна и Далина или те, которые были опубликованы в журнале "Contrat social". Все эти статьи и очерки подливают масло в огонь большого исторического спора, который длится вот уже полвека и который книга "Ленин в Цюрихе" по-своему возрождает и продолжает. Как уже подчеркивалось, писатель, к сожалению, черпал свои сведения из сомнительных, а то и просто фальсифицированных источников, которые не позволяли ему написать точный портрет Ленина. Опираясь на них, Солженицын приписывает своему Ленину, среди прочих более чем странных размышлений, мысль о некоемпломбированном вагоне, который должен доставить его в Россию через Францию и Англию. Это означает, что легенда опломбированном вагоне была "намотана на ус" и, следует предполагать, что эта тема еще всплывает где-то в последующих главах солженицынских "узлов".

Между тем, даже в своем воображении, Ленин должен понимать, что вагон не двигается сам по себе, что нужен по крайней мере локомотив и что, следовательно, невозможно путешествие по Европе локомотива с вагоном без того, чтобы их передвижение не было согласовано и синхронизирование с соответствующими инстанциями, регулирующими движение поездов. К чему, спрашивается, было приписывать Ленину подобного рода миражи, если не для того, чтобы подготовить почву для последующего изложения событий?

Солженицын знает, что инициатива поездки в Россию — в порядке обмена — принадлежит Мартову, а не Парвусу, еще меньше Людендорфу или Кайзеру, и он пишет об этом. Однако он делает из этого обстоятельства язвительные выводы и навыворот истолковывает все меры предосторожности и гарантии, предусмотренные для обеспечения чести и достоинства путешественников. Можно ненавидеть Ленина, но является ли это достаточным основанием, чтобы умалчивать правду? Хотя бы — снова к примеру — если речь идет о соблюдении договора об экстерриториальности, на чем настаивал такой педантичный юрист, каким был Ленин?

Экстерриториальность — это юридическая фикция; и люди, на которых она распространяется, рассматриваются, как проживающие в своей собственной стране. Таким образом, те триста или четыреста путешественников, о которых речь шла выше, юридически не касались немецкой территории, проезжая по ней. Если бы их вагоны были бы и впрямь запломбированны, то это лишь подчеркнуло бы эту юридическую фикцию их отсутствия в Германии. И это делало бы им честь, а никак не наоборот. Поэтому настойчивое применение слова "запломбированный" в явно отрицательном смысле просто нелепо. Писатель масштабов Солженицына не должен был бы попадаться на подобную удочку.

Солженицын не должен был бы также толковать в обратном смысле различные требования, выдвинутые Лениным в интересах всех изгнанников, стремящихся скорее вернуться на родину. Не должен он был бы также без всяких на то оснований высказывать мысль, что "межрайонцы" (социалисты-небольшевики и меньшевики) также были подкуплены Германией. Не должен был бы он, помимо всего этого, делать на каждом шагу обвинительные и беспочвенные намеки. Некоторые страницы его книги "Ленин в Цюрихе" следовало бы опровергать строчка за строчкой, что вызвало бы лишь полную растерянность читателя. И, по правде говоря, это крайне неблагоприятная задача, поскольку мы уважаем, в силу его огромных заслуг, замечательного автора "Матрениного двора" и "Архипелага ГУЛаг".

Ленин не так уж плохо рассуждал, когда он выдвинул условия, выполнение которых целиком отвело бы от возвращенцев обвинение в сотрудничестве с немцами. Напомним, что они были встречены в Петрограде с большим почетом представителями меньшевистского Совета и восторженной толпой (мобилизованной Шляпниковым и его товарищами, воспользовавшимися революционным опьянением народных масс).

Вновь прибывшие без труда "обелили" себя перед общественным мнением и перед добросовестными противниками:

в нашем распоряжении остались подтверждающие это тексты, а также и свидетельские показания.

Издаваемая Милюковым газета "Речь" приветствовала возвращенцев. Она писала о том, что "такой известный во всем мире социалистический вождь, как Ленин, должен выйти на политическую арену, и мы, как писала газета, можем лишь приветствовать его прибытие в Россию, каково бы ни было наше отношение к его политическим взглядам." Но, быть может, Милюков тоже получал деньги от Парвуса? Однако хватит о plombированном вагоне, который никогда не был plombированным. Хватит о бронепоезде, который никогда бронированным не был. Остается сказать пару слов о "вагоне-салоне", чтобы поставить все на свое место. Правда, Солженицын в своей книге ничего не пишет об этом "вагоне-салоне", однако это неотъемлемая часть той легенды, которую воскрешает "Ленин в Цюрихе".

Многие политические деятели ставили в вину Керенскому, что тот не принял необходимых карательных мер против "продавшихся" Кайзеру возвращенцев. На что Керенский ответил, что он вначале, в свое время, не поверил выдвинутым против них обвинений, а затем вынужден был признать их обоснованность после разоблачающей, однако запоздалой беседы с Эдуардом Бернштейном, почтенным и пользующимся всеобщим уважением лидером немецкой социал-демократии.

Дело в том, что Бернштейн опубликовал в 1921 году в газете "Форвертс" две статьи, в которых он утверждает, что "Ленин и его товарищи" получили от немецкого правительства "более пятидесяти миллионов золотых немецких марок". Он также пишет, что немецкий Генеральный Штаб предоставил в их распоряжение "пломбированный вагон-салон" (Давид Шуб приводит все эти данные в своем очерке: "Парвус, Ленин и Вильгельм Второй"). Вся эта история свидетельствует о том, что Бернштейн, при всем том уважении и доверии, которых он заслуживает, всего лишь повторял сплетни разного рода политиканов и чиновников, и это полностью подрывает доверие к его свидетельству.

Что же касается пятидесяти миллионов золотых немецких

марок, то эту цифру отрицают Земан и Шарлау, которые утверждают в своей книге, что "тридцать миллионов было бы ближе к истине". Однако обе цифры одинаково невероятны и ни в коей мере не соответствуют документам, отобранным Хальвегом и Земаном: ни один из этих документов не имеет отношения к Ленину.

С первых же страниц книги "Ленин в Цюрихе" создается впечатление, что Солженицын, попав в атмосферу того города, где он сам поселился, был одержим мыслью воскресить в памяти пребывание Ленина в этом месте и что он приписывает главному действующему лицу книги свое собственное возбуждение, которое Ленин, однако, не испытывал. При каждом удобном и неудобном случае, даже в мелочах, Ленин в книге Солженицына испытывает то, что Виктор Гюго называл "бурей под черепом". Это находит отражение, помимо всего прочего, в бесчисленном множестве восклицательных знаков, которыми усеяна книга.

В портрете, созданном Солженицыным, никак нельзя узнать Ленина, известного всем своей выдержкой. К тому же Солженицын мимоходом замечает, что, "по всей видимости, Ленин был полным хозяином своей головы, своей воли..." Спрашивается: почему "по всей видимости"? Ленин всегда с большим хладнокровием противостоял превратностям нелегкой судьбы. Что же касается окончания романа, то оно приводит читателя в полное замешательство и противоречит элементарной исторической правде.

Это происходит накануне знаменитого возвращения на родину. Радек говорит Ленину: "В общем так, Владимир Ильич: через шесть месяцев или будем министрами — или будем висеть". Между тем, Радек, австрийский подданный, не имеет ни паспорта, ни визы для въезда в Россию, где границы хорошо охраняются и проверяются союзниками: французскими и английскими офицерами. Радек сможет прибыть в Петроград только после октябрьской революции, которую никто не мог предвидеть в апреле. Что же касается Ленина, то он не мог предполагать ничего подобного. Так же как и Мартов и остальные меньшевики, Ленин был убежден, что начавшаяся революция — революция буржуазная (вопреки Троцкому и

его теории "перманентной революции"). Он выдвигает лозунг "вся власть Советам", другими словами, вся власть социал-революционерам и меньшевикам, которых подавляющее большинство.

Только в середине июня Ленин — да и то теоретически — поставит вопрос о том, что большевистская партия может претендовать на власть. И только в сентябре он сочтет целесообразным реализовать свой замысел на практике. А в апреле, по пути в Россию, он еще ждет ареста, как ждет заключения в тюрьму по прибытии на границу или в Петроград. Поэтому диалог между Лениным и Радеком лишен каких бы то ни было исторических и даже чисто литературных предпосылок.

Размер статьи заставляет нас сокращать и без того растянувшийся разбор книги "Ленин в Цюрихе". Та же необходимость заставляет нас отказаться от использования крайне интересной, хотя во многом и спорной, книги Фетрелла, посвященной памяти Шляпникова и Ганецкого. Как заставляет она нас отказаться также от того, чтобы привести резолюцию ЦК Партии, аннулирующую мандат Ганецкого как представителя Партии в Стокгольме, причем не на основании каких-то политических подозрений, а в силу тех "дел" и "сделок", которые наложили отпечаток на его репутацию. Как заставляет она нас отказаться от того, чтобы привести реакцию Ленина на эту резолюцию. Как заставляет она нас отказаться, наконец, и от использования секретного письма Ленина на имя ЦК, в котором Ленин рекомендует быть особенно осторожными и осмотрительными тем, кто изучает предложения, сделанные Карлом Моором, довольно-таки подозрительным швейцарцем. Помимо всего этого, можно найти также целый ряд ошибок и неточностей в справке о революционерах и упоминаемых лицах, приведенной Солженицыным в конце своей книги. Не станем задерживаться на них, но отметим все же то, что касается Шляпникова, в виду того интереса, который проявляет по отношению к нему сам Солженицын.

Недавний советский сборник "Ленин и ВЧК" (Москва, 1975 год) указывает, что Шляпников умер в 1943 году,

пережив длительное и изнурительное заключение в концлагере. Елизавета Лермоло, в своей книге "Облик жертвы" (Нью-Йорк, 1955 г.) утверждает, что Шляпников был ее соседом по камере в изоляторе Верхне-Уральска, однако точной даты его смерти она не указывает. По ее рассказу, "Шляпников был настолько слаб, что он едва мог приподняться с верхней койки. К тому времени он уже почти оглох, и мне поэтому невозможно было говорить с ним. Он к тому же оставался в изоляторе недолго. Он умер в молчании и — казалось — без мучений. Просто он утратил гибкость, тело его похолодело, и он перестал дышать. Его сосед по камере с другой стороны, Крыленко, объявил о смерти Шляпникова находящимся в камере заключенным и прибавил с горечью: "Какая постыдная кончина такого выдающегося человека!" Можно ли верить тому, что сказано в книге Елизаветы Лермоло? Дело в том, что в книге можно найти немало неточностей, вероятно, потому, что автор приводит слухи, ходившие по тюрьме, и что слухи эти проверить невозможно. С другой стороны, какой ей был смысл выдумывать нечто по поводу смерти не знакомого ей человека? Александра Толстая, которая написала предисловие к книге "Облик жертвы", могла бы — быть может — выяснить больше по этому поводу.

На протяжении всей книги "Ленин в Цюрихе" мы то и дело находим в зародыше некоторые темы, которые — по всей видимости — будут развиты в последующих "узлах" и главах. Появляется большой соблазн обсудить и эти едва затронутые темы, но необходимо ограничить себя одной из них, имеющей к тому же большой смысл: я имею в виду утверждение Солженицына, согласно которому у Ленина была "четвертушка русской крови", и даже не четвертушка, а, пожалуй, и того меньше. Эта тема крови и расы кое-что нам напоминает. Некоторые другие намеки, которые мы встречаем в книге "Ленин в Цюрихе" показывают, какое большое значение придает им Солженицын. Он явно пытается объяснить мысли и действия Ленина его наследственностью, напомнить, что в его крови были гены и хромосомы, переданные ему от родителей и предков — калмыков, немцев, евреев и

также русских, не забывая шведки, на которой женился прадед Ленина по материнской линии.

С тех пор как Мариетта Шагинян, в своей историографической работе, посвященной семье Ульяновых, обнаружила "вещественные доказательства" (которые чудом ускользнули от тщательного расследования ГПУ) еврейского происхождения матери Ленина, — это невыводимое пятно, строго скрываемое по распоряжению сталинско-арийского Политбюро, было предметом насмешливых замечаний непокорных москвичей. *Honoresco referens...* Многие, однако, приняли это "открытие" близко к сердцу. Некоторые скептики хотели бы, тем не менее, узнать, в результате какого физиологического явления Александр Ульянов, брат Ленина (у которого была та же самая "четвертушка русской крови"), проявил себя — даже по отношению к противникам — мягким и деликатным, тогда как Владимир был резок и груб (о чем пишет Петр Струве на основании свидетельства Туган-Барановского). Нужно ли это понимать так, что когда Ленин защищает право инородцев отделиться от России, то это дает о себе знать его иностранная кровь, но когда он посылает красную армию усмирять Украину, Кавказ или Туркестан, то это проявляет себя "четвертушка" русской крови? И в таком случае возникает немалое количество смущающих вопросов, которые побуждают нас пересмотреть шкалы ценностей как в области политики, так и в области истории и культуры. Но согласно каким критериям? (К великому нашему сожалению, мы берем здесь понятие "крови" в том самом смысле, в каком принимает его Солженицын).

И действительно, каким образом можно было бы измерить долю русской, германской, литовской или балтийской крови в династии Романовых? Что можно сказать о Пушкине, потомке негра из Абиссинии? Или о Лермонтове — шотландского происхождения? Или, наконец, о Барклае де Толли? А Карамзин разве не был татарского происхождения? Так же как и — впрочем — братья Аксаковы, ревностные славянофилы.

Мать Герцена была немкой. Бакунины были родом из Венгрии. Даль, которому русские обязаны толковым слова-

рем русского языка, был по происхождению датчанином. Бодуэн де Куртенэ, пересмотревший этот капитальный труд, носит чисто французское имя. Так же, впрочем, как и Петипа, главный хореограф императорского балета в Санкт-Петербурге, прибывший туда прямо из Марселя. Сергей Витте — голландского происхождения. Петр Струве, внук знаменитого астронома, родившегося в Шлезвиге, был происхождения балтийского. Мать Короленко была полька и отец — полуполяк, то есть он имел ту же "четвертушку" русской крови. Это была бы интересная тема для университетских диссертаций и докторских работ. Тем не менее, хоть я в этой области человек невежественный, — насколько мне известно, классификация сортов и видов человеческой крови как в области биологии, так и в области патологии не делается на основании критериев расы или национальности.

Приведу комический штрих, который, быть может, озадачит в какой-то степени и самого Солженицына: один из друзей Парвуса, социалист Конрад Хениш, которого Ленин отнес к категории социал-шовинистов и социал-предателей, выступил в защиту своего друга Парвуса (когда на последнего напал /Максимилиан Харден), заявляя, в частности, что Парвус никакой не мелкий буржуй, а, наоборот, "подлинный сын России, в жилах которого течет замечательная смесь русской, еврейской и татарской крови". Таким образом, у Парвуса добрая треть русской крови против всего лишь "четвертушки" причитающейся сыновьям и дочерям Ульяновых. И когда только думаешь, что Солженицын был коммунистом, прежде чем он перестал им быть, невольно задаешь себе вопрос, а не делали ли ему переливания крови (спрашивается в таком случае: какой категории крови?).

Солженицын сказал или слишком много или, наоборот, недостаточно: среди прочего, он должен был бы объяснить нам, каким образом и почему Плеханов, являвшийся "отцом русского марксизма" стал в 1914 году "социал-патриотом", в то время как Ленин оказался "пораженцем". В ожидании ответа на этот малопочтительный вопрос, да будет нам позволено считать Ленина настоящим русским, духовным наследником террористов, вроде Чернышевского, Зайчневского, Тка-

чева и Нечаева, как это явствует из его оборотов речи, несмотря на поверхностный лоск марксистской терминологии.

Возникает еще и другой вопрос, который вселяет тревогу в душу каждого, кого волнует вопрос о степени нерусской крови, которая течет в его собственных жилах. Вопрос этот должен в первую очередь волновать обитателя тех мест, где раньше жили народы, прибывшие из Азии (еще до создания Киевского княжества или государства Московского). Сюда входят, например, целые полосы украинских степей, страдавших от больших нашествий с их неизменными последствиями: расовыми скрещиваниями и соматическими смешениями, которые дают повод серьезным генетикам утверждать, что "любой человек принадлежит нескольким расам". Солженицын должен был бы знать об этом.

Ведя вначале кочевой образ жизни недалеко от берегов Каспийского моря, хазары (турецкого происхождения и родственники болгар) осели между низовьями Волги и Днепром, между Донцом и Кавказом, они заняли степь, расстилавшуюся вдоль Черного моря, осели в Крыму и создали могущественную империю (ханство), ставшую союзником Византии против арабов.

В восьмом веке глава этой империи, или Каган, так же как и высший свет хазарского общества, перешли в иудейскую веру.

Лев Четвертый, император Востока был хазаром. Константин Порфиригенет доводит до нашего сведения, что письма, посылавшиеся из императорской канцелярии в Босфоре и направляемые хазарскому государю, были скреплены золотой печатью, более значительной чем та, которой скрепляли послания, адресованные Папе Римскому или наследникам Карла Великого. Размер золотой печати был непосредственно связан с престижем, был как бы его внешним проявлением и символом. Хазарская империя пала в десятом веке под ударами славян. Под ее развалинами выжили крымские караимы и евреи турецкой крови, выходцы с юга России.

Хазары не оставили после себя архивов. Поэтому данные об их истории очень немногочисленны и разбросаны, но недавние работы таких историков, как Артамонов, Гумилев

или Данлоп, способствовали в значительной мере тому, что мы знаем о них сегодня гораздо больше.

Предположим — как бы это ни казалось невероятным — смысленные археологи найдут следы турецко-хазарской крови (хотя бы даже четвертушку!) у уроженцев Кисловодска или Ростова-на-Дону? Это никак не помешало бы нам выразить наше восхищение автору "Архипелага ГУЛаг" или "Жить не по лжи". Но никак не автору "Ленина в Цюрихе".

Перевод с французского Б. Литвинова

**ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ РУССКАЯ
ГАЗЕТА ЗА РУБЕЖОМ
"НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО"**

ВЫХОДИТ В НЬЮ ЙОРКЕ, США
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР АНДРЕЙ СЕДЫХ
66 и ГОД ИЗДАНИЯ

"НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО" РЕГУЛЯРНО ПЕЧАТАЕТ ДОКУМЕНТЫ САМИЗДАТА, ПРОТЕСТЫ ИЗ СССР, ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛУЧШИХ ЭМИГРАНТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ПУБЛИЦИСТИКУ И ПР.

**ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 45 ДОЛЛАРОВ В ГОД;
25 ДОЛ. - 6 МЕСЯЦЕВ
ВОСКРЕСНОЕ ИЗДАНИЕ ТОЛЬКО: 20 ДОЛ. В ГОД
ГODOVAYA ПОДПИСКА ВОЗДУШНОЙ ПОЧТОЙ
(ПАЧКАМИ ПО 6 НОМЕРОВ : 130 ДОЛЛАРОВ В ГОД**

**ПОДПИСКУ С ПЛАТОЙ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
"NOVOE RUSSKYE SLOVO"
243 WEST 56 St., NEW YORK, NY., 10019 USA.**

Виктор НЕКИПЕЛОВ

ЭТАП ГУЛАГОВСКОЙ ОДИССЕИ

От автора

Я был арестован 11 июля 1973 года в городе Камешково Владимирской области по обвинению в так называемом распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй (ст. 190¹ УК РСФСР), а фактически — за инакомыслие.

До этого я находился под следствием, в качестве подозреваемого, в Мосгорпрокуратуре, а позже, по каким-то непонятным маневрам прокуратуры и КГБ, я был "отключен" от этой группы и арестован отдельно, по месту жительства.

Мое дело вела Владимирская областная прокуратура. В качестве "преступных деяний" мне инкриминировали:

Написание нескольких стихотворений, якобы являющихся "клеветническими". Написание статьи-протеста "Нас хотят судить — за что?". набросок плана какой-то (ненаписанной!) "клеветнической" книги, которой следствие самолично присвоило название "Книги гнева" и, наконец, передачу одному знакомому экземпляра "Хроники текущих событий".

Во время следствия, длившегося свыше десяти месяцев, я находился в заключении во владимирских тюрьмах, недолго в Бутырской тюрьме. Именно в этот период была предпринята попытка применить ко мне психиатрическую репрессию. Владимирские психиатры услужливо дали заключение о возможном наличии у меня "вяло текущей шизофрении", и я был направлен на стационарное обследование в Москву, в известный институт имени Сербского, где находился с 15 января по 12 марта 1974 года.

Не знаю, что помешало властям применить ко мне психиатрический вариант. Скорее всего, я попал в институт Сербского в тот неблагоприятный для них период, когда на Западе особенно широко вспыхивали протесты против использования в СССР психиатрии как средства для подавления инакомыслия. После двухмесячного "обследования" я был признан вменяемым — психически здоровым. В мае 1974 года был приговорен Владимирским областным судом к двум годам лагерей общего режима.

Предлагаемые записки касаются лишь одного этапа моей гулаговской одиссеи пребывания в институте имени Сербского.

Я попытался рассказать обо всем, что видел в этом любопытном, окутанном мраком безвестности учреждении, являющемся своеобразным гибридом советской системы террора и советской медицины.

ИНСТИТУТ ДУРАКОВ

"ДУРАК (м.), ДУРА (ж.) - глупый человек, тупица, тупой, непонятливый, безрассудный. Второе значение — маломысленный, безумный, юродивый".

Влад. Даль, "Толковый словарь", 1880 г., т.1, стр. 501.

В настоящее время, в уголовном лексиконе, слово "дурак" часто употребляется в значении "сумасшедший" с оттенком: здоровый человек, "закосивший" уголовник, перехитривший врачей и признанный невменяемым.

КРОПОТКИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 23

— Сколько в Москве вокзалов? — Девять. Ярославский... Савеловский... С Рязанским, что не понять: вокзал или платформа (на Каланчевке) даже десять.

— Сколько аэропортов? — Загибаем пальцы: — Внуково... Шереметьево... — Пять!

— А сколько тюрем? — Оказывается, и это несложно сосчитать. — Бутырка — самая знаменитая, давняя, еще Пугачев сидел... Матросская Тишина... Красная Пресня — всесоюзная пересылка... Таганку сломали в хрущевские годы... Еще Лефортово — тюрьма КГБ. Еще Лубянская внутренняя — самая тайная... Раз-два и обчелся. Пять!

— Шесть, — уверяю я. Да, эта последняя, со стеклянными окнами без решеток, официально тюрьмой вроде не называется. И тем не менее, считаю ее тюрьмой, самой настоящей и едва ли не самой жуткой. Хоть и неподолгу в ней сидят, вроде пересылки.

— Как для кого, — скажут некоторые. — Как для кого...

Кропоткинский переулочек, 23. В самом центре Москвы. Рукой подать до Крымского моста, до Смоленской площади, до высотной громадины Министерства иностранных дел... Непримечательное трехэтажное здание старинной постройки, окруженное серым, молчаливым забором, — едва ли кто разглядит на нем тоненькую паутинку проволоки, натянутой для сигнализации о побеге... Ну а овчарки внутри двора — вымуштрованы, не лают...

Институт фасадом выходит в Кропоткинский переулок, тылом — на шумный Смоленский бульвар, с этой стороны его сейчас надежно загородил 25-этажный жилой дом на марсианских железобетонных "ногах" (Смоленский бульвар, дом 6—8). Въезд в институт — с торца, с улицы Щукина, 19, сюда сворачивают неприметно с Садового кольца воронки. Со всех сторон институт имени Сербского окружают мирные и, конечно, нужные учреждения. Вот Министерство просвещения СССР (Смоленский бульвар, 4) — цитадель света и знания... С торца, в доме по Кропоткинской улице 38 — детская библиотека им. Н.К. Крупской и ВНИИ "Биотехника"... Пельменная — в том же доме... Магазин "Березка" чуть поодаль, на углу, иностранцы снуют... А в тихом Кропоткинском переулке, в старинных респектабельных особняках: редакция журнала "Латинская Америка" и дом-музей, в котором родился великий отрицатель государства и его насилия над личностью — П.А. Кропоткин...

"НЕКИПЕЛОВ, С ВЕЩАМИ!"

Вторник, 15 января 1974 года. Перед подъемом, около половины шестого, с лязгом распахнулось кормушечное окно моей бутырской камеры-одиночки.

— Некипелов? Имя-отчество?.. Собирайся с вещами!

Все ясно: этап в институт. Наспех укладываю вещи, собираю постель, жду. Минут через пятнадцать за мной придут. Долго бреду вслед за вертухаем по какому-то длинному коридору, устланному старинной, скользкой, чисто вымытой плиткой. С обеих сторон — небольшие камеры. Останавливаемся у одной, и вертухай берет из нее человека.

Парень лет двадцати восьми, в сером кургузом пальтеце. Лицо добропорядочное, умное, заросшее черной, месячной давности бородкой. В руках небольшой узелок из серой тряпицы. Парень с интересом смотрит на мой, оттягивающий руку мешок. Двоих нас ведут наружу, через двор, в знакомый уже отсек приемного корпуса. После этого нас запирают в одной из сборных камер. Холодно, в раскрытое за решеченное оконце, что высоко над полом, густой струей, как паста из тюбика, вползает белый морозный воздух.

— Яблочка нет случайно? — спрашивает парень, кивая на мой мешок.

— Нет. Конфеты есть. Хочешь?

Моего напарника зовут Володей. Москвич. Сидит уже около двух лет, "закошил" и был признан невменяемым. Отбывал в какой-то гражданской психбольнице под Москвой и бежал оттуда. Жил, скрываясь, полгода в Азербайджане, потом в Москве, у знакомых. В конце концов изловили, и сейчас он понятия не имеет, куда его "дернули".

Я говорю, что, по всей вероятности, в институт Сербского.

— В Сербского?.. — Володя бледнеет. Он ведь уже был признан... Значит, переосвидетельствование? Как теперь себя вести? Он явно обескуражен и весь погружается в свою тревогу.

В камеру постепенно подбрасывают — по одному, по два — новеньких. И уже она гудит, как улей, наполняется дымом и вонью. Обычная уголовная публика, выделяется жуковатый мужичок с блатными повадками — какой-то известный московский вор из Марьиной рощи. Маленький, сморщенный, лет под пятьдесят. Но голос зычный, законодательный, камера группируется вокруг него. Видно, картежник. Достает из мешка — показывает две выигранные в камере кроличьи шапки. А на голове — рыжая, лисья, хотя и потеряя.

От нечего делать изучаю надписи на стенах. Карандашом, гвоздем, горелой спичкой: "Коля, везут в Сербского. Олег"; "Наташа, меня признали. Слон"; "Жду этапа в Сербского..." Становится жутковато от чьих-то криков-замет, каким-то темным пророчеством веет от лаконичного "меня признали".

Текут часы. Раздают ложки, хлеб, кормят завтраком —

жидкая пшенная каша. Еще через час ведут всех — человек по пять — в парикмахерскую. Бородатым состригают бороды машинкой. Затем заставляют спустить брюки, и второй эск из хозобслужбы, такой же машинкой оголяет каждому лобок. Состригают и под мышками.

Возвращаемся в камеру, ждем. Набралось уже человек около двадцати. На лавках все не умещаются, сидят на полу, на корточках, на мешках. Я держусь возле Володи.

Вдруг за дверь, в коридоре, — дикий крик избиваемого человека.

— Ой-ей-ей, не надо! Не бейте! Это мое, мое! Кофта, правда, моя!

Минут через десять в камеру вталкивают человека, одетого довольно странно и для зимы легкомысленно. На нем вылинявшая, коротенькая, до пупка, солдатская гимнастерка и такие же узенькие, до щиколоток, брючки-галифе. На ногах разбитые башмаки-"коцы" без шнурков, а на голове крошечная фетровая шапочка-покрывало, похожая на еврейскую ермолку, в таких обычно старики ходят париться на полог. Под этой ермолкой — такое широкое, веснушчатое, комичное русское лицо, что невозможно удержаться от смеха.

Камера оглядывает вновь прибывшего. Постепенно яснеет связь между недавним криком в коридоре и странным нарядом незнакомца.

— Ты кричал? — спрашивает марьино-рощинский вор. Человек в фетровой ермолке кивает.

— Так ты, с-сука!.. — вор встает и подходит к ермолке явно для расправы.

Уже вся камера понимает, в чем дело. При проверке одежды арестанта обнаружилось, что у нашего незнакомца нет ни одной вещи из перечисленных в карточке, одет он во все чужое. То есть снятое с кого-то (или выигранное) в камере. Вертухаи в сердцах избивали поборника и сдрючили с него чужую одежду, а ему взамен бросили какое-то солдатское рваньё.

При всей дикости воровской "этики" такой подбор в нее не укладывался. К тому же трусость, крик пороссячий... Назревал самосуд над ермолкой, и лисья шапка уже два раза

скользнул ребром ладони по носу ермолки. Но тут лязгнула дверь и раздалась команда "Выходи!"

Нас погрузили в воронок, набив его до отказа. Последним, уже нам на колени, втокнули ермолку. Поехали... Даешь институт Сербского! Новых дураков везут!

КОЖУРА ОТ АПЕЛЬСИНОВ

Воронок останавливается. Сходим по одному, оглядываемся. Круглая подъездная арка — это уже во дворе института — широкая двустворчатая дверь, открывающаяся в просторный вестибюль, выложенный мозаичной плиткой. Сопровождавший воронок низкорослый капитан поволок куда-то портфель с нашими "делами".

Нас запирают в помещении, состоящем из двух комнат и небольшого чуланчика с унитазом и раковиной для мытья рук. В большой комнате — длинный, широкий стол, на котором можно сидеть. Складываем вещи, разбредаемся по углам. Входит прапорщик, командует:

— Будете выходить по одному. Кто первый?

Конечно, все хотят быть первыми. Он берет самого шустрого, верткого, первым подскочившего к дверям. Лисья шапка опять развязывает мешок, хватается бахлом. Ермолка сидит на корточках в углу, пригорюнься.

В туалете над унитазом приколото объявление: "Кожуру от апельсинов в унитаз не бросать!"

Куда нас привезли? Кожура от апельсинов! От одного этого объявления веет чем-то невозможным, волшебным, что ждет впереди. Конечно, мы не будем бросать в унитаз апельсиновую кожуру! Да случись она там сейчас — мы бы, кажется, выловили ее всю, по кусочку, по ломтику из этого самого унитаза и тут же затолкали в свои жадные, опресненные тюремной баландой, отвыкшие от прекрасной человеческой пищи рты!..

ЗЕЛЕНый КУВШИНЧИК

Выдернув из комнаты, в которой мы размышляли над проблемой апельсиновой кожуры, двух-трех человек по прин-

ципу "кто ближе", вертухай вдруг пришел с бумажкой.
— Кто здесь Не-ки-пелов?

Удивленно оглядываются на меня "воры" и "подворята" — за что, мол, такое отличие? Прапорщик подводит к открытой проходной комнате, в которой производится "приемка" и усаживает на стул возле дверей.

Когда принимающий врач освобождается, меня вводят.

Врач молодой, рослый. Желтоватое лицо курильщика, глаза — совы, утопленные в темных орбитах. Позже узнаю, что это Альберт Александрович Фокин, врач из 4-го отделения, уже отправивший по психиатрической Владимирке не одного инакомыслящего.

Он заполняет какую-то анкету, кажется, лицевую сторону "истории болезни". Статья? Образование? Место последней работы... В конце спрашивает:

— Как вы в коллективе? Уживчивы?

Пожимаю плечами. Вопрос наиглупейший. Возле врача вижу свое "дело" — довольно пухлую, листов этак на сто пятьдесят, папку. Заглянуть, увы, даже как-нибудь боком, через стол, хоть на один листок, — не удается.

После оформления бумаг уводят куда-то неподалеку. Конвоируют меня две толстые няньки. Ба, ванна! Самая настоящая, так и ласкает глаз своей эмалевой белизной. Одежду велют сложить в больничный мешок. Продукты — отдельно. Книги — нельзя, и как ни пытаюсь отстоять нужные мне уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, — отбирают. Тетради с записями берут на просмотр врачу, обещая отдать, если он разрешит. При этом из всех тетрадей вынимают металлические скрепки... Отбирают даже расческу и очки. Освобожденного от вещной скверны Адама усаживают в ванну, и две няньки хлопчут вокруг, как няяды: одна спину детской губочкой трет, вторая поливает на голову теплой водой из пузатого с облупившейся эмалькой — сейчас вроде и не выпускают таких — словно из далекого детства выхваченного кувшинчика...

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПСИХИ!

После омовения повели лесенками, коридорами на второй этаж. В то самое 4-ое отделение, куда водили всех инакомыслящих, только я еще не знаю этого номера. Господи! Коридор паркетный, до зеркального скольжения навощен. Встречает медсестра — черноволосая татарка с сережками в ушах. Улыбается. Ведет в палату большую, где белые металлические кровати, застланные зелеными верблюжьими одеялами, в два ряда. В центре комнаты — длинный стол, покрытый кухонной клеенкой в клеточку. Два огромных окна, в которых только нижние стекла замутнены белой краской. А выше — голубой простор, ветки деревьев видны, какой-то жилой дом с балконами... А главное — стекла, чистые стекла, и никаких решеток!

Отрываясь от этого щемящего душу простора (позже узнаю, что это не обыкновенное стекло, а непробиваемое, лучше любой решетки держит!), вижу, наконец, население этого удивительного мира. На кроватях кое-где лежат, сидят зэки. То есть и не зэки вовсе, ничего общего с тем истрепанным лицом, — обыкновенные больные в обыкновенной больнице: в пижамах полосатеньких, во фланелевых халатах. Несколько человек — за столом играют в домино. Тут же, возле дверей, на какой-то тумбе, возвышаясь как клуша над стайкой цыплят, сидит толстая надзорная нянька. Гремит радио. Так это и есть психи?

На соседней койке, слева, лежит кто-то неподвижный, молодое лицо, густо окутанное черной бородой, напоминает алебастровую маску, глаза уставлены в потолок, в одну точку. Похож на еврейского ребе, говорящего с богом. Кажется, он один в палате, кто не обращает внимания на прибытие новичка.

Впрочем, сосед справа тоже довольно безучастен. Этот лежит, укутавшись одеялом, на боку, лицом ко мне, и сосредоточенно грызет ногти. Молодой. И вообще, как удалось заметить, население палаты молодое, средний возраст едва ли тянет за двадцать пять.

Наконец решаюсь обратиться к окружающей публике.

В конце концов, найдутся же коммуникабельные.

— Откуда тут, ребята? Какие статьи?

И от стола — серьезно, глухим, загробным басом:

— Вот слева от вас — убийца. Мать замочил. Молотком. И сестренку. 102-я статья... Да и справа тоже... Разбойник. Полный псих. По ночам бросается.

И Ногтеед, словно уловив, что о нем речь, ослабил, заурчал, еще быстрее заработал челюстями. Понимаю, что вроде бы разыгрывают, но по спине все-таки — холодок: а вдруг и правда щелкнет ночью зубами над ухом?

Когда выясняется, за что я сижу, слышится веселый возглас. — Да у нас тут уже есть политиканы. Вот один спит... Вот другой. Эй, Матвеев!

На угловой кровати напротив подымается голова. Лицо молодое, приятное. Серые глаза, легкие пшеничные усики. Улыбается. Потягивается со сна.

Удивившись и даже обрадовавшись (впервые за полгода тюремных скитаний встречается моя статья), переспрашиваю:

— У вас тоже 190? А откуда вы?

— Она. Из Ростова-на-Дону.

Смутная догадка шевелится в груди.

— А вы сюда из какой тюрьмы?

— Из Бутырки.

— А в какой камере сидели?

— В 64-ой.

— Так вы... Шейх?

Парень улыбается польщенно.

— Точно.

И я улыбаюсь. "Шейх!" Вспоминается первая, серая и холодная бутырская камера, в которой две первых ночи после приезда отбивался отчаянно от клопов. Там на стене был нацарапан разграфленный по клеточкам-дням календарик на декабрь, а внизу, четко, каллиграфически — "Шейх-антикоммунист, г. Ростов-на-Дону". Счет дням на календарике на каком-то предновогоднем числе обрывался — значит, увезли человека. И вот он здесь, этот "Шейх" — с таким воинственным эпитетом и таким молодым, почти мальчишеским лицом.

— Тут еще один с этой же статьей, — говорит Шейх. — Вон, через три койки от меня спит, тоже из Ростова-на-Дону.

Ну-ну. Щелкай челюстями. Ногтеед, щелкай! Я уже не страшусь — не один. И уже понимаю: настоящих психов тут, видать, не густо.

Проблема невменяемости и возможность замены уголовного наказания лечением, лагеря или тюрьмы больничкой — вызывает жгучий интерес советского уголовника. И это естественно. Ну подумаешь, кличка "психа", "дурака!". "Дураки едят пироги", по русским сказкам дурак — существо достойное. В психбольнице не надо работать, кормежка — не на 30 копеек в день, молоко, котлеты дают... Тут и врачи — не вертухаи, и койка чистая. И передачи и свиданья чуть не каждый день. "Ах, у психов жизнь — так бы жил любой, хочешь спать ложись, хочешь — песни пой", — утверждает А. Галич. Одна беда в этой, почти санаторной жизни — таблетки надо глотать. От них и в сон клонит и... но уж это — неизбежные издержки, плата за райские "блага". К тому же как-то все научаются: толкнуть под язык — отхаркнуть — выплюнуть.

Статус невменяемого сулит уголовнику множество благ и на воле. Во-первых, возможность не работать, ведь в больнице, как правило, дают инвалидность II—III группы. То есть и пенсия будет. Во-вторых, "белый билет" на все времена. Словом, давай, "гуляй, рванина", — пей, бей, кути, — чего с дурака взять?

В общем психиатрический рай — золотая мечта уголовника. Но как туда попасть? Русский народ, хоть и мечтателен, но практической жилки (особенно по части попадания в "рай") тоже не лишен. И вот тут открывается широчайшее поле для творческой самодеятельности. Как всегда, есть самородки, артисты, а за ними — эпигоны, подражатели, в общем, валом валит уголовный люд в "дураки".

Конечно, отбор сложен, гонки трудны. Едва ли десять процентов из всех "закосивших" достигают желанного финиша. Но ведь достигают.

Я ничем не могу подкрепить свои цифры, они основаны

исключительно на наблюдениях, но, как я считаю, восемьдесят пять, даже девяносто процентов из всех посылаемых на экспертизу, — здоровые люди. Во всяком случае в четвертом отделении института Сербского — из числа всех моих однопалатников — таких было добрых девяносто пять процентов. Скажу дальше: а из числа всех признанных больными действительно больных едва ли более двадцати пяти-тридцати процентов.

ПЕРВАЯ НОЧЬ. КОМИССИЯ

Первая ночь в психиатрическом "Зазеркалье", несмотря на уют и негу постели (кровать мягкая, на панцирной сетке), прошла тяжело. Болела голова, было очень жарко, снились какие-то кошмары. Кажется, я даже кричал во сне, чем порадовал как верным симптомом "свихнутости" стерегущую няньку.

В довершение всего я напрочь забыл, где нахожусь, и каково же было мое изумление, когда, открыв глаза, увидел чье-то остекленевшее, оскаленное в совершенно идиотской улыбке лицо, смотревшее на меня из-под одеяла с соседней койки. Лицо вдруг ослабло, подмигнуло по-своему, а из-под одеяла высунулась желтая рука и поманила меня скрюченным пальцем. Было от чего вздрогнуть! Оказалось, что это Петя Римейка, пожалуй, единственный в палате настоящий дурачок. Перебрался, пока я спал, ко мне в соседнюю вместо Ногтеда, и теперь, проснувшись, почтил меня своим вниманием.

Когда подошел завтрак, мне было велено не есть, дабы по приходу сестры сдать кровь на анализ.

После анализа и после запоздавшего завтрака за мной пришла медсестра. Оказалось, на комиссию. Я вошел в просторную комнату, где стояли два перпендикулярно уставленных стола по центру и несколько — вдоль стен. За "командным" столом восседал мужчина лет 55, с удлинённым лицом и свисающим, как гороховый стручок, печальным семитским носом. Волосы полуседые, вьющиеся, к губам будто

приклеена приторная, нарочитая улыбка. Это был, как выяснилось позже, заведующий отделением Яков Лазаревич Ландау.

За другими столами, невпопад, сидел человек десять-двенадцать мужчин и женщин в белых халатах. Кое-кто стоял, прислонившись к окну. Мне предложили сесть на стоящий поодаль, справа от председательствующего стул.

— Виктор Александрович, — обратился ко мне он. — Вы давно пишете стихи?

— Прежде чем отвечать на вопросы, я хочу сделать заявление. Вчера у меня изъяли тетради с записями, ручку и несколько необходимых книг, в частности, уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Когда все это будет возвращено?

— Вот они! — мужчина за столом хлопнул ладонью по лежавшей перед ним стопочке. — Тетради. Вернем их, как только я их просмотрю. Ручку тоже вернем, если разрешит лечащий врач. Вам будет назначен врач, понимаете? Ну, а что касается книг — придется немного подождать. Потерпите, вы ведь недолго пробудете здесь.

— Сколько же?

— Ну-у, это зависит от вас. Вообще у нас срок месяц. Но, может быть, и быстрее, если будете помогать нам.

— Что значит помогать? Никому и ни в чем я помогать не собираюсь.

— Ну, вы уж в буквальном смысле! Помогать, — значит отвечать на вопросы, рассказывать о себе лечащему врачу. Вот вы так и не ответили на мой вопрос: давно ли пишете стихи?

— Печатались ли, издавались?

— Я же сказал, что говорить об этом не буду.

— Ну, хорошо. Скажите, а вы знаете, зачем вас сюда привезли?

— Разумеется. Государство пытается вашими руками упрятать меня в сумасшедший дом.

— А вы себя считаете здоровым?

— Разумеется.

— Виктор Александрович! А вот в деле записано, что

ваша мама страдала душевным расстройством, лежала в психбольнице. Это действительно так?

— Не знаю, что записано в моем деле. Кто об этом показывает? Подтверждено ли это справками? Моя мать пропала без вести свыше тридцати лет назад, мне в то время было всего десять лет. Действительно, в новой семье отца, бытовала версия о том, что мама психически больна, мне это внушали. Но думаю, что это всего лишь легенда, созданная отцом*.

— Ну хорошо, Виктор Александрович. Можете идти. Завтра вы уже будете знать своего врача.

Я вышел вслед за делавшей мне знаки сестрою. Уходя, поймал на себе внимательный взгляд одной из присутствующих в комнате женщин — интересной, полной, лет сорока, с тяжелой, рыжеватого цвета прической. Интуитивно подумал: "Уж не эта ли дама будет моим лечащим врачом?"

Как оказалось, я не ошибся.

"ШЕЙХ-АНТИКОММУНИСТ"

"Шейх-антикоммунист" отнесся ко мне с интересом. Естественно, и я потянулся к нему и при первой же возможности заговорил. Он отвечал охотно и вроде бы искренне, Да, статья 190¹, "распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй". "За что же?" — "За стихи..." — "За стихи?" — Это уж совсем интересно, ведь и я сам вроде бы "за стихи".

Правда, дальнейший рассказ несколько разочаровал меня. Как оказалось, Матвеев был из уголовного лагеря, уже со сроком. Получил пять лет, кажется, за обыкновенную кражу и уже отбыл год или два. А потом — расклеил по лагерю листовки с политическими стихами... Вот и взяли, стали новое дело крутить. Что-то говорил он мне о тяжелых условиях

* На этот вопрос я отвечаю подробно — пункта о душевной болезни матери боюсь больше всего. Хотя она, как я считаю, и не была больна, но отец мог показать такое. А столь крупный "козырь", как "отягощенная наследственность", был бы великолепным поводом для признания меня психически больным.

в лагере под Ростовом, о том, что мочи не было... Прямо не признался, но я понял, что этими листовками он, попросту говоря, "закошил", — чтобы признали невменяемым, — все же легче будет в психушке, чем в лагере. То есть был он именно "политикан", как представили мне его в палате, — уголовник, радящийся под политического. Среди уголовников почему-то бытует убеждение, что в политических лагерях — условия лучше. И кормежка "от пуза", и передачи чаще, и работать — по желанию, и, очень характерное: вертухаи, мол, все "на Вы..." Что же касается возможности попасть в "дурдом" вместо лагеря, то редко найдешь уголовника, который не мечтал бы о таком счастье. И вернейший путь к этому счастью лежит именно через политическое "преступление". "Толкнуть политическую речь" на суде, или листовки разбросать — это практикуется часто. И дает желаемые результаты! Не знает "дурачье", что не в вольную психушку на полгода будет выписан квиток, а в "спецуху", без срока, да еще с галоперидолом в неразумный мозг.

Вот и Матвеев соблазнился. И очень хотел, как сразу же мне признался, чтобы сочли его невменяемым.

— Да зачем вам это? Вы же здоровый человек? Вы представляете свое будущее?

А он все твердит не очень уверенно:

— Вы не знаете, как в лагере плохо... Столько лет еще... Хуже не будет. В больнице кормят... Молоко дают...

Позже он мне и стихи свои почитал. Что-то про Новочеркасские расстрелы, про кровь под танками... Жутковатые и... хорошие стихи, жалею, что не осталось в памяти даже строчки.

Талантливый, просто очень талантливый и несчастный человек сидел передо мной — этот "Шейх" из Ростова-на-Дону.

Мы говорили долго. Об искусстве, стихах. Я спросил, кто его любимый поэт. И он назвал... Эдуарда Асадова! Он почти не знал иных имен и даже о Блоке ведал только по "Двенадцати". Я стал рассказывать о Гумилеве и Ахматовой, он слушал жадно, хватко. Мы сидели рядышком за столиком, и во время разговора я несколько раз ловил на

себе внимательный взгляд няньки. Подумал: не стоит слишком демонстрировать свой интерес к одностатейникам. В течение дня мы еще несколько раз заговаривали с Матвеевым, и каждый раз на нас останавливался регистрирующий взор няньки. В остальное время "Шейх" лихо играл с Бесковым, Лукашкиным и еще какими-то ээками из другой палаты в "покер" и "квадрат"*; а иногда, как мне удалось заметить, что-то писал, лежа на койке.

Прошло еще день-два. Однажды ко мне подошел "Шейх" с радостно поблескивающими глазами. В руках у него был лист бумаги.

— Я вот здесь стихи написал...

— Прочтите, Витя.

Он прочел. Хорошие, ладные стихи о том, что... вот если бы во время парада повернуть танки на мавзолей, — он рухнул бы как карточный домик.

— Хорошо, — сказал я. — Только зачем вам такие стихи?

И опять затылок мне прожег сыскной ощупывающий взгляд няньки.

Утром следующего дня, после завтрака, я лежал в постели с книгой в руках. В углу, через четыре койки от меня так же лежал Виктор. Что-то писал. Вдруг к нему подошла Анна Николаевна, дородная наша нянька, и что-то сказала. Виктор вскочил, оделся и вышел вместе с нею. Никто не придавал этому значения, так как вызывали на процедуры, на беседы походя. Но минут через 10-15 вновь вошла нянька и стала собирать белье с постели Матвеева, скатывать матрац. А меня вдруг холодом обдуло: из-под матраца нянька вытащила знакомый лист - на котором записал Матвеев свое стихотворение о мавзолее! Первая мысль была: броситься — вырвать... Но она уже положила лист в карман халата. Тут подошла и медсестра, и нянька передала ей листок, сказала что-то. Ушли обе, унося постель и незадачливое творение поэта-антикоммуниста...

Больше я не видел Матвеева и ничего не знаю о его судь-

* Азартные игры с помощью костей домино, в которые играют в тюрьмах на сигареты или под какой другой интерес.

бе. Куда он был переведен? Видимо, в другое отделение, — своего месячного срока он еще не пролежал и выписной комиссии у него не было. Но почему? Не было ли связи между его исчезновением и внимательным надзором няnek за нашими беседами? И мне стало жутковато: уж не на мне ли чума? Не из-за меня ли был убран из отделения этот человек?

Кто-то из палаты сказал, что перевод Матвеева был вызван более "земными" причинами. Он будто бы крупно проиграл в домино, а платить было нечем, и палатная камарилья грозила расправой. Вот он и попросил врачей перевести его от греха подальше.

ПЕРВАЯ БЕСЕДА С ВРАЧОМ. ЛЮБОВЬ ИОСИФОВНА

Обследование мое шло вяло. Сводили на осмотр к терапевту. Сводили к окулисту — выписала новые очки... Все как в записной районной больничке. Еще сделали рентгеновский снимок черепа. Это вроде бы и ни к чему, но спорить я не стал. Никаких опухолей в голове, слава Богу, у меня нет. Правда, когда через несколько дней мне предложили сделать снимок повторно (дескать, было "шевеление"), я отказался. Не настаивали.

Наконец, состоялась встреча с лечащим врачом. Беседа проходила в процедурной комнате. Я уже не удивился, увидев перед собой именно ту женщину, что рассматривала меня на комиссии дня два назад.

Представилась как Любовь Иосифовна. На мой вопрос о фамилии ответила, что это "не обязательно". Красивое, но восковое от косметических втираний лицо. Рыжеватые, пышные волосы. Губы пухлые, чувственные, выдающие вместе с тем обидчивость и слезливость. Руки полные, круглые, но без маникюра и украшений. Вообще, на всем ее облике, несмотря на косметику и модную одежду, лежала печать усталости и какой-то домашней заезженности.

Встреча наша длилась около тридцати минут. Боюсь, что я разочаровал собеседницу. Прежде чем отвечать на ее вопросы, я попросил ответить на два моих. Первый: достаточным

ли основанием для направления на экспертизу является неподтвержденный слух о болезни моей матери? И второй: можно ли ознакомиться с заключением амбулаторной психиатрической экспертизы?

На первый вопрос Любовь Иосифовна лишь пожалала плечами, дескать, а почему бы и нет? Второй вопрос отвергла: нет, нельзя. Я сказал, что в таком случае и я ни на какие вопросы отвечать не буду.

— Ну что вы, Виктор Александрович! Так не годится. Разве вы мне не доверяете?

Несмотря на то, что я молчал, она все-таки пыталась меня расспрашивать. В основном это были вопросы по "аномальным" фактам моей биографии, видимо, аккуратно стасованным следователем в дело:

— Как вы относились к своей мачехе?..

— Почему разошлись с первой женой?..

— Вот у вас конфликт был с городскими властями в 1971 году в Солнечногорске, не можете ли о нем подробнее рассказать?

Прежде чем задать очередной вопрос, она заглядывала в лежавшее перед нею дело. По всему было видно, что она плохо подготовилась к разговору.

— Ну, ладно, — махнула она напоследок рукой, посмотрев на часы. — Мы еще не один раз с вами будем беседовать...

ЭКСПЕРТИЗНЫЕ ЗЭКИ

Пожалуй, время рассказать о населении четвертого отделения — тех подопытных кроликах, на которых совершенствовалась в начале 1974 года свой научный прогресс советская судебная психиатрия...

Всего нас было в трех общих палатах 26 душ. В моей, "шумной", палате собралась в основном молодежь, мальчишки 18-20 лет. Все, как правило, "говорунки". Называя их так я, конечно, употребил самое мягкое выражение. Все это — беспринципные и наглые тюремные сорвиголовы, демонстрировавшие к тому же и свое психическое буйство. Могли они ни с того, ни с сего затеять дикую возню, расшвырять подуш-

ки, ударить любого, смахнуть со стола домино или запустить в потолок кружкой. Няньки обычно хлопотали вокруг таких, приговаривая:

— Ну что ты, Вова... Ну чего тебе хочется? Успокойся, милый, успокойся!

В палате лежало несколько "реактивщиков" — зэков, симулировавших полное отключение от всего земного. Такое состояние в психиатрии называют реактивом. Они не вступали ни с кем в контакты, часами лежали на койках, уставая в одну точку. Некоторые и не особенно скрывали, что "косят" (или "гонят") — в отсутствие няньки и на перекурах разговаривали, смеялись. Разумеется, ели все исправно, проявляя здесь полную разумность. Например, чернобородый "ребенка"-убийца, так напугавший меня при первом соприкосновении, был большим сластолюбом. При каждой закупке продуктов (2-3 раза в неделю дозволялось через старшую сестру покупать на личные деньги нужные продукты в магазинах) заказывал пирожные, шоколад и другие сладости. Иногда ему приносили целый торт. Нянька расстилала прямо у него на груди клеенку, ставила на нее картонку, и он ел торт, все так же безучастно уставившись в потолок и блаженно причмокивая. Белые крошки застревали в его густой бороде.

Кроме Ногтеда в палате лежал реактивщик Кузнецов по кличке "Барон". Это был профессиональный уголовник с татуированными волосатыми руками и неприятным исподлобным взглядом. "Тюлькогон" он был отменный. По палате ходил медленно, шаркающим шагом, то и дело оглядываясь. А если слышал, что сзади кто-то идет, — испуганно отскакивал в сторону и пропускал идущего, оглядывая его блуждающим, безумным взором. Ел он только на постели, вяло, смешивая первое со вторым, подолгу задерживая у открытого рта поднесенную ложку. Тем не менее, он был признан здоровым и отвезен в Бутырку. Кто-то рассказал мне по секрету, что "Барон" до привоза в институт был изболочен и бит в камере как сексот.

Позже в палату был помещен реактивщик со странной фамилией Тумор. Это был невысокий, светлоголовый, курносый паренек лет двадцати. Поначалу он тоже лежал без-

участно на кровати, причем возле самой няньки, жутковато выставив из-под одеяла всегда в одной и той же позе кисть руки, но позже был разоблачен как симулянт и снял реактив, превратившись в обычного, развязного и говорливого парня. К нему я еще вернусь.

В полуреактивной дремоте находился и некий Геннадий Асташичев — рыжий, преглупый мужчина 42 лет из Мурманской области. Этот разговаривал, общался, но всегда как бы в полусне. Бесконечно и нудно рассказывал историю своей семейной драмы. Застал жену с любовником, огрел ее по голове... банкой с вареньем, за что и был посажен, клял свою судьбу, жалел детей. С врачами и персоналом разговаривал подобострастно, непременно приговаривая: "Я же нездоров... У меня с головой не в порядке... Мне врач сказал, что я в больнице полежу... Вы же меня признаете?" Это был тоже совершенно здоровый психически человек, разве что недоразвитый умственно, глупый. Дожил же до 42 лет, имея, как он говорил "одни благодарности по работе". Он, однако, был признан невменяемым.

Инфантильной личностью был упомянутый мною Петя Римейка. Настоящее его имя было Петер Римейкас. Он был литовец, из Вильнюса, сидел за разбой. Петя был незлобивый, очень контактный. Не говорил, но выслушивал каждого, улыбаясь и поддакивая забавно: "О да! О да! Уй-уй! О да!" В отделении он натирал полы, в банные дни мыл другим зэкам спины, вообще охотно помогал нянькам. Даже мыл — за какое-то угощение — полы в кабинете врачей и процедурной. Петю в палате не обижали, всех завораживал он своей очаровательной улыбкой безобидного деревенского дурачка. В институте Петя лежал давно, чуть ли не четвертый месяц. Ходил на так называемую трудотерапию — клеить конверты.

В маленькой палате напротив нашей лежал любопытный персонаж — полярный летчик Векслер. Москвич, еврей. Это был мужчина 53-54 лет, но очень молодежавый, с военной выправкой. Полуседая, мэфистофельская бородка, острые, умные глаза. По утрам Векслер делал продолжительную

зарядку в коридоре — играл обнаженным до пояса мускулистым торсом, приседал, выгибался. Все остальное время что-то писал, сидя за круглым столом в своей палате, возле него были разложены толстые стопки бумаги. Все говорили уважительно, снижая голос до торжественного полупшепота, что он "пишет роман". Летчик был на явно привилегированном положении в отделении. Я заметил, что была у него и шариковая ручка.

В одной палате с летчиком лежал высокий парень лет двадцати пяти с огненно-рыжей бородой* , — очень застенчивый и славный — Саша Соколов. Он уже второй раз находился в институте. С ними же лежал, это был самый пожилой человек в отделении, шестидесятидевятилетний Александр Михайлович Никуйко, — высокий седовласый и почти глухой старик из Волгограда, посаженный за убийство жены. Никуйко очень хорошо играл в шахматы — у него был первый разряд, и мы потом часто сражались с ним за шахматной доской. Так же, как и с Соколовым. И был еще Борис Евсеевич Каменецкий — пятидесятилетний пухленький, рыхлый человек из нашей палаты, служивший объектом постоянных насмешек как для зэков, так и для няnek.

О, об этом человеке стоит рассказать подробнее...

УЧИТЕЛЬ ИЗ ТАШКЕНТА

Этот человек привлек меня не только близостью возраста, но и своей затравленностью, подчиненным положением в палате. Травили его все: и зэки, и няньки. То и дело слышалось:

— Каменецкий, жрать хочешь? (зэки).

* Я заметил, что на экспертизе было очень много рыжих,.. Уж не существует ли где инструкция, обязывающая следователей повнимательнее приглядываться, проявляя психиатрическое сомнение, именно к рыжеволосым? Кстати, в тюрьме, лагере тоже много рыжих. Во всяком случае процент их выше, чем на воле раза в 3-4. Не говорит ли это о том, что рыжеволосые вообще, чисто генетически, более склонны к правонарушениям? Может быть, это давно уже установлено, не знаю, основываюсь лишь на личном наблюдении.

— Каменецкий, это ты опять сухари разложил? (няньки). Круглолицый, полный, одышливый мужчина лет пятидесяти. Лицо красное, размазанное, с восточными чертами, и я вначале принял его за узбека. Тем более, что он был из Ташкента и говорил по-русски с акцентом. Позже выяснилось, что он не узбек, а еврей и даже не бухарский, а украинский, из-под Житомира. Но ребенком был увезен в Среднюю Азию и там "обузбечился".

Я сблизился с ним сразу после загадочного исчезновения Виктора Матвеева. Каменецкий же привлекал интеллигентным видом, он был мягок и общителен, всем своим обликом он как бы просил у меня дружбы и защиты.

— Сразу видно, что вы интеллигентный и образованный человек, — говорил он мне. — Здесь ведь такие люди, такие люди! Я так устал, и в тюрьме и здесь.

Я спросил, за что он сидит.

— Ах, не спрашивайте меня! Это такая травма! Такая травма! Я до сих пор не могу прийти в себя...

Меня потряс его рассказ о тех жутких условиях, в которых он сидел в КПЗ в Бухаре. То была старая эмиральская тюрьма с камерами-ямами, где надзиратель разглядывал заключенных сверху через решетку и опускал им, как зверям, пищу на палке. Потом Каменецкого везли в наручниках на самолете в Москву... В Бутырке его так травили в камере, что он пытался повеситься, оторвав полосу от матрасного мешка. Сняли... Ему и здесь, в институте, в отличие от остальных зэков, была выдана одна простыня вместо двух. Видимо, в деле у него имелась пометка о склонности к руконаложению. Поэтому в отделении Каменецкому не выдавали даже таких предметов как расческа или очки, и он постоянно брал их "на прокат" у меня. Еще няньки постоянно следили, чтобы полотенце у него не валялось на койке или под подушкой, как у других зэков, а висело расправленным на спинке кровати, все время находилось на виду.

В конце концов, отвечая на мои осторожные расспросы, Каменецкий рассказал, что сидит за убийство. Он работал завучем в производственно-техническом училище в Ташкенте. Однажды у него в гостях был директор училища. Выпивали.

Директор каким-то образом оскорбил жену Каменецкого, тот, вскипев, схватил подвернувшийся молоток и...

— Это было ужасно, Виктор Александрович! Я до сих пор не могу вспоминать без дрожи. Это такая травма!..

И он, закрывая лицо ладонями, трясся в беззвучном плаче.

Молодые зэки весело травили Каменецкого. Просто потому, видимо, что видели его мягкотелость, беззащитность. И потому, что он был старше и слабее их. Ну и, конечно, за то, что еврей... Видимо, изголодавшись в тюрьме, он ел теперь много и жадно... А после обеда подбирал оставшиеся на столе кусочки белого хлеба и сушил их на отопительных батареях. Мне он объяснял это тем, что подсушенный хлеб менее кислотен, а у него больной желудок. Каменецкий собирал сухарики в мешочек и по ночам грыз их в постели, потешая зэков. И няньки ругали его, постоянно сбрасывали хлеб с радиаторов.

А еще Каменецкий храпел... Ох, горе в тюрьме храпящим! И хлестнут сапогом по лицу, и рот тряпкой заткнут...

А еще у бедняги постоянно пучило кишечник, и по ночам произвольно отходили газы... Этого зэки и вовсе не могли пережить. Требовали убрать его — в коридор, "к параше". А няньки, вместо того, чтобы заступиться, подогревали страсти.

— Ну ты и пер... сегодня, Каменецкий! — громогласно, на всю палату заявила однажды Анна Николаевна, работавшая в институте свыше тридцати лет. — Так пер..., что меня ветром чуть из палаты не выносило!

Кажется, я был единственный, кто попытался защитить Каменецкого, и с тех пор он проникся ко мне особенным расположением.

Борис Евсеевич страстно хотел, чтобы его признали невменяемым. "Не вынесу я лагеря, Виктор Александрович!" — признавался он мне. Его лечащим врачом был некий Геннадий Николаевич, молодой человек с выпученными, рачьими глазами и свисающей сзади богемной гривкой волос. Каменецкий постоянно лебезил перед ним. Встречаясь в кори-

доре, например, сгибался в поясном поклоне:

— Здравствуйте, Геннадий Николаевич!

— Здравствуйте, Каменецкий. Только мы с вами, кажется, сегодня уже здоровались.

— Ну и что же, Геннадий Николаевич. Мне просто приятно с вами еще раз поздороваться.

Он мог и в третий раз отвесить поклон. Порой так и стоял в коридоре — специально караулил врача.

Каменецкий знал о моей статье. Относился сочувственно. Рассказывал, что в Ташкенте, где лежал на предварительном обследовании в гражданской психбольнице, уже встречался с одним инакомыслящим. Журналистом, совершенно здоровым человеком, конечно. Сочувствовал и ему, и мне.

Однажды он вдруг спросил, знаю ли я, когда и в связи с чем была введена в кодекс статья 190¹. Раньше ведь была одна 70-ая. Я не знал точно.

— Это в связи с крымскими татарами... Их надо было судить за различные мирные выступления, демонстрации, а 70-ая статья была больно жесткая, до семи лет. Вы слышали что-нибудь о крымских татарах, Виктор Александрович?

Господи, я ли не слышал! Но ему сказал:

— Да не очень, Борис Евсеевич. Что они там натворили?

И он... начал просвещать меня. И о крымских татарах рассказал, о их борьбе за возвращение в Крым, и о судах над ними. И о генерале Григоренко, их отважном заступнике, помещенном за свои выступления в спецпсихбольницу в городе Черняховске. Я только диву давался осведомленности моего собеседника. И, конечно, сам потянулся навстречу. Вскоре мы уже смело говорили о Солженицыне, Сахарове, о демократическом движении в СССР. Круг наших бесед был широк. После того, как я узнал, что Каменецкий — еврей и сочувствует движению евреев за выезд в Израиль, я проникся к нему чуть ли не братскими чувствами. И, конечно, был все более и более откровенен. В свою очередь, и он, узнав, что я "волоку" в проблемах еврейства, оттаял беспредельно.

Так и говорили мы — взалхлеб, радуясь друг другу, прогуливаясь по коридору или сидя попеременно то на его,

то на моей койке. Говорили о ленинградском процессе самолетчиков, и уже я, призабыв осторожность, демонстрировал ему свою осведомленность, пересказывал информацию "Хроники текущих событий", содержание последнего слова обвиняемых... Сколько раз во время этих бесед ловил я опять на себе ошупывающие взгляды няnek.

— Как хорошо, что я встретил вас, — все говорил мне Борис Евсеевич. — Что значит образованный, культурный человек!

Как-то Каменецкий попросил у меня бумаги и карандаш... Геннадий Николаевич предложил ему изложить письменно всю историю преступления, все подробности, детали. Характеризовать убитого... Рассказать, какие козни он раньше строил Каменецкому, а теперь его родственники будто бы строят жене... Каменецкий охотно взялся за эту работу и несколько дней прилежно, закусив губу, корпел за столом над листом бумаги. Исписанные листы клал в карман халата и так ходил по отделению. Мне очень хотелось прочесть его произведение, но попросить было неловко, не решился.

Однажды после обеда Каменецкого вдруг вызвали к врачу. Он вышел, а через несколько минут вдруг повторилось то же, что с Виктором Матвеевым: вошла нянька и стала собирать постель моего нового друга. А меня будто обухом по голове ударило, уж на этот раз сомнений быть не могло: из-за меня! И что за рок такой: со вторым человеком схожусь — второго отнимают тут же, открыто, грубо.

Правда, Каменецкий, в отличие от Матвеева, не исчез бесследно, он просто был перемещен в спецотделение ("бокс"), в котором содержались какие-то особо-особо опасные, как утверждала местная молва, — политические, изменники, иностранцы и т.п. Но относительно Каменецкого я ошибся! Опростоволочился, сел в калошу... Очень не хочется, стыдно рассказывать. Но,наверное,надо...

Причиной перевода Каменецкого был, оказывается, вечно беспокойный "злой мальчик" отделения — Витя Яцунов. Однажды, стоя рядом с Каменецким у столика сестры, выдающей продукты экаам, он увидел торчащие из кармана соседа листы бумаги. Я упоминал, что Каменецкий писал свою

исповедь для Геннадия Николаевича. Ну, Яцунов и подшутил — вытащил листки незаметно. Естественно, прочел в палате. Фантастика! Вовсе никакой не учитель был наш бедный, испуганный, затравленный Борис Евсеевич Каменецкий.

И никого он не убивал, не было никакой 102 статьи... Ничего не было. Все сочинил, напел мне в доверчивые уши этот простоватый и жалкий на вид человек.

Б.Е. Каменецкий, ни много, ни мало, был старшим следователем по особо важным делам прокуратуры Узбекской ССР!

Сел — бываю же фантастические случаи — за... клевету на Главного прокурора Узбекской ССР! Нет, не та "клевета", что у меня, имелась в виду "клевета честная" клевета как оскорбление личности, та, что наказывается по 130 статье УК РСФСР. Что ж, видимо, не поделили что-то два паука, и тот, который поглавнее, упек малого.

А я ему — как единомышленнику — о Сахарове взахлеб! Сколько "Хроник" пересказал, в скольких преступлениях власти изобличил! И ведь находил понимание, сочувствие, сам слушал — про евреев да татар. Понял я, откуда он про последних знал так много. Татарские процессы в основном проходили в Ташкенте и других узбекских городах. Может быть, этот самый Каменецкий их и организовывал? Следствия вел? А может, и к делу самого П.Г. Григоренко руку приложил? Его ведь в Ташкенте арестовали и там мучили полгода...

Прокурору, следователю, вообще всякому "менту" — в тюрьме не жизнь. Боясь, видно, расправы со стороны уголовников, он и сочинил душеспитательную историю об убийстве начальника, оскорбившего жену. И все развесили уши, я в том числе. А когда выкрали у него разоблачающие листки, он, естественно, тут же сообщил об этом врачам (может быть, любимцу своему — Геннадию Николаевичу), и те незамедлительно убрали Каменецкого из палаты, спасая от "гнева народного".

Вот такая история приключилась со мной... "Ведь бывают же такие промашки", — как поет Александр Галич.

А все-таки. Как доверительно слушал меня Борис Евсее-

вич! А как сомкнулись на родственной почве сионизма!..
 Ей-богу, не часто такого собеседника найдешь!

БИТВА ЗА АВТОРУЧКУ

Ежедневно, в начале десятого утра, проходил врачебный обход. По понедельникам, после комиссии, его вел Яков Лазаревич Ландау, в другие дни, по очереди, — рядовые врачи, хотя Ландау тоже присутствовал. Обычно всем задавались одни и те же вопросы:

— Ну, как дела?

Или:

— Жалобы есть?

Поскольку не разъяснялось, какие жалобы имеются в виду, я каждый день высказывал одну и ту же:

— Когда мне будет выдана авторучка?

Сначала Ландау, прикрываясь улыбочкой, вежливо разъяснял, что это — по усмотрению лечащего врача. Потом стал говорить лаконично, почти без улыбки:

— Посмотрим.

Однажды, рассвирепев, метнул на меня ненавидящий взгляд и отрезал:

— Что вы заладили со своей ручкой? Не положено у нас! И не просите!

На следующий день на дурацкий стандартный вопрос "жалобы есть?" — последовала та же претензия насчет ручки. Ландау, изничтожая меня зрительно, вновь прохрипел, что не положено.

— Никому!

Тогда я заметил (каюсь, это был "недозволенный" прием), что вот в палате напротив, у Векслера, есть же ручка, и ничего не случается.

Я думал, что, глядя на него, они и мне разрешат, но они вместо этого отобрали ручку и у Векслера.

Да простит он мне этот невольный подвох. Думаю, что роман из жизни полярных летчиков от этого не пострадал.

Таким был Я.Л. Ландау со своей резиновой улыбочкой.

Я и в дальнейшем забавлялся тем, что сдергивал ее с него периодически. Однажды я потребовал шахматы в "тихую" палату, в которую перешел из "шумной".

— Игры положены только в шумной палате.

— Но я же о шахматах говорю. Уж более тихой игры не придумаешь. Ваш отказ попросту не логичен.

Расвирепел невозмутимый Яков Лазаревич! Кулаком хлестнул по столу в нашей "тихой" палате:

— Что вы мне все о логике! Не положено, и все тут! И не ищите логики в запретах! Здесь вам не санаторий!

Это было 31 января 1974 года. Весь февраль я допекал Ландау новым стереотипом.

— Когда будет прогулка?

Этим требованием доводил и самого Лунца. Следует сказать, что прогулки не было ни разу. В зимнее время они в институте будто бы не проводятся. Одежды не хватает и дворы под снегом... Добились все-таки! Горжусь: не без моего участия.

Но это позже. Пока стоял январь... Приятным событием стал для меня переход в маленькую, "тихую" палату, на место выбывшего летчика. Он-таки был признан душевно-больным и выбыл в какую-то иную обитель. Кажется, он хотел этого. Ну дай ему Бог, тихий трудяга, может быть, там он и допишет свой роман. Еще, чего доброго, и издаст.

СКОЛЬКО СТОИТ ВИЗА В КИТАЙ?

И все же не закрыл мне рот, не отбил охоты к общению промах с Каменецким. Не может человек быть один. Потеряв двоих, я примкнул, хоть опять ненадолго, к третьему. Иван Федорович Радиков был второй "политикан", встретившийся мне в институте дураков. Правда, здесь был другой, более близкий мне случай.

В отличие от красавца "Шейха" Радиков не блистал внешностью. Среднего роста, сутулый. Лицо асимметричное, скуластое, "казацкого" типа, глаза неяркие, цвета пивной бутылки, склонные к прищуре. Он был малоразговорчив, не

ярок, интеллектом не блистал. Не писал стихов. И тем не менее, я привязался к нему, прикипел крепко к его несложной, но горестной судьбе.

Ивана привезли в Москву из Ростова-на-Дону. Это был простой рабочий человек тридцати трех - тридцати четырех лет, шофер из станицы Вешенской, — той самой, где живет в своих каменных хоромах на берегу Тихого Дона distinguished "писатель земли русской" М.А. Шолохов. Ваня был одиноким и обиженным жизнью человеком. Круглым сиротой. Родителей своих не помнил, они погибли в 1941 году, в первый месяц войны. Воспитывался у чужих людей, затем в детдоме. Вырос зверьком: одиноким и сложным. Сиротство определило его психологию: он был мизантропом. К тому же еще беспощадным женоненавистником. Это и определило в конце концов и его "преступление". Донельзя бесхитростное, просто смешное, не приведи оно к тому жуткому порогу, на котором он оказался.

Будучи по какому-то поводу обижен властями — кажется, не дали квартиры, — он написал откровенное и, по-видимому, сердитое письмо своему знаменитому земляку и депутату — М.А. Шолохову. Выложил в нем, конечно, все, что думает. О том, что государство наше, вопреки словесам, плохо относится к рабочим... О том, что сирот обижают, детей погибших фронтовиков... Что никакой не социализм у нас, а самый настоящий капитализм. Ну и т.п. В выражениях, естественно, не стеснялся. Что-то подобное послал и покойной Е.А. Фурцевой — женщин ведь он особенно не любил...

И в конце заявлений просил дать ему визу на выезд... в Китай (где, мол, истинно рабоче-крестьянское государство и где рабочих ценят).

Вот и все "преступление" Ивана Радикова.

Вынужденный властями написать эти заявления он был арестован за них — этими же властями — как за "распространение сведений, порочащих советский общественный и государственный строй"... И вот: внутреннее убеждение следователя в том, что не может нормальный, здоровый советский человек быть недовольным своей социалистической родиной и уж

тем более просить визы в какой-то там ревизионистский Китай, зашвырнуло Ваню в институт им. Сербского.

Так мы и встретились. И сдружились понемногу. На первых порах Радиков отнесся ко мне недоверчиво, настороженно. Он ни от кого не получал передач, но когда я попробовал угостить его — предложил кусок колбасы, яблоко, вареное яйцо — он энергично отклонил угощение. "Зачем это? Не надо!" Однако мало-помалу оттаял, даже привязался ко мне — трогательно и верно.

Меня к этому времени перевели в маленькую палату. Радиков заходил часто, брал у меня книги — "Былое и думы" Герцена, "Историю моего современника" Короленко. Первую, правда, не осилил, вскоре вернул. Вторую — томик о тюремных скитаниях Короленко — держал долго. Иногда, видя, что я занят, со словами: "Можно я посижу здесь?" — садился с краешку ко мне на кровать и подолгу сидел молча, не мешая, только поглядывая на меня тихими и преданными глазами.

Еще мы играли в шахматы. Ваня играл хорошо. Говорили мы о многом. Я рассказывал ему о Герцене, о Короленко, и всякий раз он с интересом слушал. По его словам, он окончил десять классов вечерней школы и даже пытался поступать в институт — кажется, Ростовский политехнический, — но неудачно.

Прослышав, что я литератор и явно ревную меня к новому отделенческому поэту, одолевавшему всех стихами — Игорю Розовскому, Ваня однажды, страшно смущаясь, протянул мне свой опус, сочиненный тут же, в минуту молчания на краешке моей кровати. Этот листок и сейчас у меня — единственная нить, связующая меня с Ваней Радиковым, его маленький дар на память мне.

**"На лужайке, на полянке,
Девки водят хоровод,
Завлекают парня Петю,
Чтоб пропел кукаревод.**

**... Ох девчата, ох девчата!
Несерьезный вы народ.**

**Легкомысленно живете,
По-куриному поете."**

Простим Ване "поэтический стиль" этих строк, вызывающий разве лишь улыбку. Да он ведь и не рядился в поэты. Кстати, и в этом отрывке сумел выразить свой антагонизм к прекрасному полу.

Постоянно общаясь с Радиковым, наблюдая за ним, я ни на минуту не сомневался в том, что он, конечно, совершенно нормален. В отличие от Матвеева, он не хотел и даже боялся признания его невменяемым. Тем не менее, на моих глазах, он был признан психически больным, социально опасным и обречен, таким образом, на бессрочное заточение в спецпсихбольницу*!

Лечащим врачом Ивана Радикова была некая Светлана Макаровна (фамилии врачей в институте им. Сербского тщательно конспирируются), — интересная голубоглазая молодая женщина с выбеленными до льяной седины волосами. Старший научный сотрудник, кажется, даже кандидат наук. Ну а председателем комиссии, приговорившей к истязанию нейролептиками бесхитростный "несогласный" мозг шофера из шолоховской станицы, был, конечно, профессор Лунц.

"Комиссия" эта состоялась 21 января 1974 года. Испытуемому результат, как всегда, не был объявлен.

29 января изнервничавшийся Радиков, обеспокоенный тем, что прошла неделя, а он все еще на месте (признанных здоровыми увозят тотчас же), устроил обструкцию. Подкараулив Светлану Макаровну в коридоре, он потребовал отвезти его в тюрьму.

Обструкций в институте Сербского не любят. На следующий день (именно по средам увозят "признанных") Ваню взяли... Так быстро, что мы с ним даже не успели попрощаться.

* Естественен такой вопрос: каким образом частное письмо оказалось в следственном деле Ивана Радикова? Уж не сам ли "писатель земли русской" его отволок? Впрочем, с него станет. Вспомним его известное выступление по поводу процесса над А. Синявским и Ю. Даниэлем в 1966 году.

Только и остался у меня от него на память — серенький листок с "кукареводом". Карандашные строчки стираются, вянут. И я думаю: когда это было? В какой земле? И где сейчас этот одинокий, тихий человек? В какой из спецпсих-больниц томится, мечтая о своем, так и не достигнутом Китае?

ОКНО В МИР

После гремящего целый день над ухом радиорупора, стукотни домино и диких выходок моих молодых сопалатников новая палата казалась раем. Здесь было всего четыре койки, причем моя находилась на очень удобном месте, в углу у окна. Радио в палате не было. Рядом с моей кроватью, примыкая к окну, стоял круглый стол, покрытый клеенкой в клеточку. За ним мы и обедали. Палата выходила на южную сторону, и в полдень в окно весело било слепящее, клонившееся на весну солнце. Снаружи, с правой стороны окна, по стене здания проходил сверху вниз какой-то четырехугольный желоб — не то мусоропровод, не то старый, не работавший грузовой лифт. В этом желобе гнездились голуби, и в палате было слышно их приглушенное, тоже добревшее день ото дня, от весны и солнца воркование.

Из окна был виден кусок институтского двора, уголок какой-то одноэтажной постройки. Кажется, это были классы для охранявших институт прапорщиков. В будние дни, по утрам, мундиры, поглядывая на часы, валили туда толпой. Шли с папочками. В 9 часов все смолкало, и только минут через 50 они высыпали на крыльцо для недолгого перекура. И снова пропадали на час.

Еще из окна были хорошо видны тонкие нити сигнализации, натянутые на кронштейнах вдоль стены. Это на случай побега. Снаружи, со стороны улицы, их не должно быть видно.

Над стеной, а вернее за нею, возвышался огромный жилой дом. Позже, уже после освобождения, специально съезжу — узнаю, что это и была та 25-этажная стеклобетонная громадина, на которой висит табличка "Смоленский бульвар, 6—8".

От этого дома до моего окна метров 250—300, и иногда, если в каких-то квартирах горит свет, а шторы не задернуты, можно видеть, как в китайском театре теней,двигающиеся за стеклами силуэты.

Но чаще я смотрел не на окна, а на узкую щель-арку, зиявшую между верхним краем институтской стены и "брюхом" дома. Там был виден кусочек московской улицы — текучей, шумной, — кусочек Садового кольца! Мелькали автомашины, троллейбусные дуги, фигуры пешеходов. Видна была даже противоположная сторона улицы с окнами-витринами, какие-то вывески (ателье по Смоленскому бульвару, дом 7). Чужая, прекрасная и недостижимая жизнь плыла за немытыми стеклами нашей темницы! Вот какой-то незадачливый пешеход ступил на проезжую часть — хотел перебежать. Но тут: вж-ж-ик! — лавина машин! — отскочил в сторону — окатило беднягу размытым снегом из-под колес!

О, в этот прекрасный калейдоскоп хотелось смотреть вечно! И сколько раз я думал: а вдруг и моя Нина — в дни передач — проходила мимо, вдруг и ее фигурка мелькала в размытом окне? Да, конечно, проходила. Может, и ее взгляд скользнул, — ничего не отметив, — по далекому, темному пятну моего окна? И от этого еще острее тоска и четче сознание фантастичности, ирреальности всего, что происходило со мною.

**... С тех пор брожу, незримый рядом с вами,
А вы зачем-то ищете меня!
Звенят щеглы, в чащебне стонут совы,
Кузнечики стрекочут на лугу...
— Ау, ау! Я слышу ваши зовы
И вижу вас, лишь крикнуть не могу...**

Граждане пешеходы! Рассеянные, уткнувшиеся в асфальт под ногами муравьи-москвичи! Проходя по Смоленскому бульвару мимо привычных булочной, ателье, аптеки, — оторвите свой усталый взор от земли. Взгляните вверх — на далекие, тусклые квадратики окон над желтой неприметной стеной. Ведь кто-то и сейчас томится за этими безликими, мутными стеклами.

ВРАЧИ И ЗЭКИ

Я говорил выше, что в институте, среди находящихся на экспертизе зэков, практически не было больных. Конечно, я имею в виду только свое, четвертое отделение, и то недолгое время, когда я там находился, хотя не думаю, что в других отделениях обстояло иначе.

Почти все действительные больные выявляются без института Сербского, на областных экспертизах. В институте невменяемыми признаются примерно пятнадцать процентов всех направленных на экспертизу. Но и это намного превышает процент больных. Так или иначе, подсчитано, что из числа признанных невменяемыми в институте имени Сербского на принудительное лечение в психбольницы идет до семидесяти процентов здоровых людей.

Это и есть желанный финиш для многих уголовников.

Чем же тогда заняты врачи института? Сознают ли они истинное положение дел? Большую часть своего времени и энергии они тратят, видимо, на разоблачение симулянтов, а не на диагностику действительно имеющих место психических заболеваний. Конечно, было бы интересно посмотреть их статистику, но где же ее взять?

Что касается признания психически больными здоровых людей (я говорю сейчас не о намеренном признании, как это имеет место в отношении политических), то врачи, видимо, увлекаясь симптоматикой, искренне верят, что ставят точный диагноз. Хотя наиболее опытные из них, на мой взгляд, должны понимать, что в отдельных случаях зэки их проводят. Ведь точные методы диагностики отсутствуют. Все субъективно, условно, особенно при маниакально-депрессивных психозах и шизофрении. К тому же надо дать "норму" выявленных больных, подтвердить какой-то средний, спущенный сверху процент. Да и научный подход надо продемонстрировать, или, по крайней мере, видимость научности, институт ведь центральный, головной!

Лежал в нашем отделении больной по фамилии Бучкин — 56-летний алкаш из Поваровки. Худой как скелет, вечно улыбающийся морщинистый мужичок без единого зуба и с седым

пушком на голове, он ходил по палатам и рассказывал каждому встречному "про свою жизнь". И каждому встречному, после пяти минут разговора, становилось ясно, что перед ним тихий безобидный помешанный. Так вот этот Бучкин поступил в институт Сербского, ни много, ни мало... в 6-ой раз! Впервые он был здесь... в 1939 году, 35 лет назад. Затем, время от времени сажали его за мелкие кражи или кухонные ссоры. Был в институте снова и снова, и каждый раз в новом отделении... Ему был знаком здесь каждый угол, многих толстых отделенческих няnek он знал еще девчонками. На этот раз Бучкин был арестован за кражу старого, оцененного в десятку, пиджака, который он по пьяному делу снял с крючка в электричке.

Наказание его ждало до шести месяцев, а под следствием он сидел уже пять (ждал очереди в институт Сербского).

Бучкин не горевал: кормят-пят, спать тепло и чисто. Натурал паркет в отделении за пачку сигарет в день...

Спрашивается, что это? Такой сложный случай, что 35 лет высшая научно-исследовательская лаборатория страны голову ломает? И отчего каждый раз в новом отделении? Или у него сегодня — паранойя, завтра — шизофрения, послезавтра — маниакальный психоз? Похоже, наш Бучкин просто клад для науки, кто знает — может, на нем не один институтский доктор диссертацию защитил.

И не этим ли живет и кормится институт Сербского? Не тем ли, что его врачи, основываясь на ученых доктринах профессоров Снежневского, Кобрикова, Банщикова, Морозова, часто сами рожают своих больных и, смыкаясь с дурачками их зэками, гонят свою, научную, советскую "туфту"?

РЕПРЕССИИ

И все же тюрьма просвечивала сквозь бутафорию "сладкой жизни", она все время была тут, словно волк в обличи Красной Шапочки и никак не могла спрятать свои желтые зубы. И оттого еще острее был гротеск, смыкание фантазмагии и яви...

Пусть на поверхности не было ни лязганья замков, ни

матерни вертухаев — тюрьма сидела в наших мышцах, глазах, костях, мы были связаны с нею неотторжимой пуповиной, которая могла в любую минуту втянуть нас обратно, в ее холодное, каменное лоно.

Кроме того, были репрессии. Причем здесь они приняли новую, еще более изощренную форму — психиатрического, лекарственного кнута. Пусть это случалось не часто, но нарушителей порядка, дисциплины, в общем, всех непокорных, — безжалостно кололи. И жутко становилось, когда нянька приглашала медоточивым голоском:

— Ну-ка, милый, давай на укольчик!

Кололи аминазин, от которого любого бунтаря через 20 минут валил с ног неодолимый сон. Эти несчастные двигались потом по отделению как сонные мухи, большей частью они безучастно лежали на койках, поднимаясь только в туалет, чтобы выкурить там, в полной прострации, горькую свою сигарету.

Один случай аминазиновой репрессии произошел у меня на глазах, поразив чудовищной несправедливостью.

Всему виной был все тот же отделенческий бузотер Яцунов. Однажды он нарисовал на листке женский профиль с выпуклым бюстом, под которым написал: "Дорогая Мария Сергеевна, я тебя люблю!" (У Марии Сергеевны, самой молодой врачихи отделения, действительно был выдающийся бюст). Под этой фразой-признанием он поставил подпись — "Бучкин", и листок как-то умудрился передать Марии Сергеевне — как бы от ее поклонника.

И что же? Мария Сергеевна приняла шутку всерьез. Она даже не удосужилась попросить у Бучкина объяснения — просто назначила десять инъекций аминазина!

Вечером недоумевающего Бучкина потащили в процедурную и вкатили полный курс, целую неделю он почти не вставал с постели.

Даже Яцунов, не ожидавший такой реакции со стороны Марии Сергеевны, опешил и переживал. Правда, пойти и признаться, у него не хватило смелости.

Нет, вовсе не райским островом был Институт Дураков — самой обыкновенной тюрьмой.

И вкрадчивая улыбочка Ландау — была маской обычного тюремщика, палача. Конечно, нет у меня прямых данных. Но я не сомневаюсь, что и он бросал — одним росчерком своего пера — людей в карцер и на кушетку под аминазиновую плеть.

А после этого, может быть, и читал Герцена...

Тюрьма...

Ушлый волк в личине Красной Шапочки облизывает свои несытые зубы. И урчит плотоядно.

А мы... едим свою райскую сардельку и спим на белой снежной простыни.

"ДАЙТЕ КОНЯ МНЕ, И В РУКИ РАСПЯТЬЕ"...

Он возник изваянием на пороге палаты. Ладони были сложены на груди шалашиком, как при восточном приветствии, черные глаза-маслины смеялись. Смоляная, с преждевременным седым клоком челка набок. Он отвесил поклон и застыл у дверей, глядя на меня выжидающе.

— Вы что-то хотели?

— О да. Мне сказали, что вы пишете стихи. А ведь и я тоже.

Господи, еще один поэт! Видно, за этими стенами их так же густо, как рыжих. Может, это тоже один из признаков психической аномалии?

— Ну заходите. Присаживайтесь. Читайте ваши стихи.

... В Игоре Исаевиче Розовском было необычно все: от биографии до преступления. Он был сыном известной ткачихи-стахановки сталинской поры Дуси Виноградовой*. Помнил время ее придворной славы, ребенком у Сталина и Молотова на коленях сидел. Правда, этим Игорь не хвастался.

Знаменитая ткачиха несколько лет назад скончалась, а ее незадачливый отпрыск, совершив так называемое "преступле-

* Отец Игоря, Исай Розовский, был евреем. Он работал артистом Ивановского драмтеатра. Когда Дусн пошла в гору и переехала из Иванова в Москву, артист провинциальной сцены, конечно, перестал быть ей парой. Они разошлись.

ние против социалистической собственности", отправился теперь на своем плоту в долгое плавание по гулаговским протокам.

Он сидел сейчас передо мной и читал стихи. Улыбался, шутил, каламбурил. Как какой-нибудь денди в кафе за коктейлем. А ведь в случае признания Игоря вменяемым, здоровым, ему грозил срок от пяти до пятнадцати лет! В характере Игоря преобладали: бесшабашность, непрактичность, излишняя доверчивость и неразборчивость в средствах. Все — "слабое добро безвольной сути", как сказал один хороший поэт. Видимо, эта "суть" и довела его до преступления. Игоря обвиняли по статье 92 — "хищение путем растраты или злоупотребления служебным положением". Он заведовал небольшой мастерской по ремонту ювелирных изделий из серебра на Кузнецком мосту. Любил деньги и сладкую жизнь. Увлекался тотализатором. В мастерской принимали без квитанции заказы, что-то там мухлевали с серебром. Имели "левый" доход от заправки шариковых ручек. Кузнецкий мост — место бойкое.

В общем, все было как в обычном учреждении бытового обслуживания. Пока не случилась осечка. С кем-то не поделились, не угодили кому-то. Я склонен думать, что увлекся Игорь в силу широты своей натуры, махнул рукой на бухгалтерию. Кто-то более ловкий двигал, руководил, Игорь же был ширмой, и расплачиваться, естественно, пришлось ему одному. Ревизия определила растрату в шесть или семь тысяч рублей.

В тюрьме Игорь "закошил". Даже еще до ареста: взял и лег в психбольницу. У него и "подпочва" была — в юности уже лежал, состоял на учете в психдиспансере. Из тюрьмы снова повезли в 15 больницу. Вроде, признали. Уже аминазин ел горстями. Потом вдруг снова взяли в тюрьму, а оттуда — в Сербского.

Игорь был воспитанный, культурный и избалованный московский пижон. Этаким сибарит, с движениями плавными и округлыми, холеный, сытый. Остроумный, хваткий. Имел успех у женщин. Во всем его облике была этакая, видимо, унаследованная от отца, артистичность. Он любил и умел

рассказывать. Характеристики его были сочны и яркие. Это он пустил по отделению и крылатый каламбур: "Наша жопа как резина — не боится сульфазина"* . В общем, это был талантливый человек, только на дурных подмостках досталось ему играть.

И "бред" у Игоря был такой изящный, я бы сказал, аристократический. "Закошил" он по линии... спортивного коневодства. Ипподромный завсегда, игрок, — Игорь обладал обширнейшими познаниями по части лошадей. К тому же память у него была феноменальная: он помнил когда и где, какая лошадь показала тот или иной результат. Мы только диву давались, слушая, как он чеканит:

— В 1949 году, в Ленинграде, жеребец Алладин (от Алмаза и Дианы) в забеге на 1000 метров показал столько-то минут... секунд.

— В 1902 году знаменитая Верба, дочь Верного и Балерины, в забеге для двухлеток на 2000 метров...

Игорь был энтузиастом отечественного коневодства. При этом его интересовала в основном одна порода — русский рысак. Он считал, что в СССР это нужное дело в загоне, год от году ухудшается, порода вырождается, сникает.

На этом и был основан "бред" Игоря. Любовь к лошадям и толкнула, мол, его на преступление. Да, он брал деньги из кассы, но он же не на собственные прихоти их тратил, а на помощь русскому рысаку через тотализатор!

Он готов был остановить любого встречного, взять за пуговицу и говорить, говорить о плачевном положении советского коневодства. По заданию лечащего врача, Валентины Васильевны Лаврентьевой, долго писал какой-то труд о русском рысаке. Читал его и нам. О, это был серьезный и взволнованный трактат, я не уверен, что конный спорт в СССР располагал когда-нибудь лучшим обзором.

Розовский писал стихи. Любимым поэтом его был Ронсар. Естественно, что теперь, "завернувшись" на коневодстве,

* Болезненные инъекции сульфазина — серы в персиковом масле — применяются в психиатрических больницах как репрессивное средство для наказания больных.

он широко использовал "конскую" тему. В каждом стихотворении хоть какая-то "конская" деталь должна была присутствовать. Облака сравнивал с гривами коней... Бой часов — с конским топотом. Вот несколько образчиков его творчества.

**"Глаза закрою: зелень пастбищ,
и жеребенок в синей мгле.
И на душе как будто праздник,
и звуки струнные во мне."**

Я посоветовал Игорю подпустить в стихи мистики. Пусть слышится этакая обреченность, рок. Он учел это мигом:

**"Белое с белым, черное с черным,
Все справедливо, кажется ровным.
Все справедливо, все справедливо.
Конская грива очень красива.
Где-то рыданье. Где-то проклятье.
Дайте коня мне. И в руки распрячь.
И мне не надо другого понятия."**

Вот еще одно, очень мне понравившееся:

**"Не уйти. Не уйти.
Ведь вокруг — чертов круг.
Белый вид. Белый свет,
Черный смех
Позади.
Ты уйдешь.
А они
Зубы скалят, галдя.
Про меня, про коня.
Ведь вокруг —
Чертов круг.
Только слышно:
— Ау!..
— Ландау!.. Ландау!"**

Я хохотал, когда он читал это, — завывая, имитируя гугнявый прононс Якова Лазаревича: "Ландау-у! Ландау-у!"

Вот таким был этот стахановский сын. И кто знает: доверь ему судьбу спортивного коневодства в России, — возможно, оно возродило бы свою былую славу.

К сожалению, врача Валентину Васильевну эта слава мало беспокоила. Игорь был признан здоровым, и 26 февраля 1974 года нянька тронула его за плечо:

— Собирайся, голубчик.

Все. Щеки у него побелели — этап на Матросскую Тишину.

Так и был обречен на дальнейшее захирение славный род русского рысака.

Продолжение в следующем номере.

**"РУССКАЯ МЫСЛЬ"
"LAPENSEE RUSSE"**

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светочке".

*"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой.
Распространитель: "Атлас", ул. Членов, 49, Тель-Авив.
Цена в розничной продаже - 3,5 лиры. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.*

ДРЕВО ЖИЗНИ

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРА ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНОГО

Мало кто в Советском Союзе видел работы Эрнста Неизвестного, но его имя было известно решительно всем. Его слава началась со скандала на выставке в московском Манеже в 1962 г. Как рассказывает сам скульптор, Хрущев, подойдя к стенду Неизвестного, разгневанно заявил: "Все ваше искусство — дерьмо!" Неизвестный жестко возразил: "Здесь я — премьер-министр, а не Вы, и здесь Вы должны слушаться меня". Тут в диалог вмешался Шелепин: "Ты у меня поговоришь на урановых рудниках!" Хрущеву же Шелепин дал следующий совет: "Что Вы слушаете этого педераста, который ворует бронзу и замешан в валютных спекуляциях?"

Однако, вскоре ситуация изменилась. Имя Неизвестного стало популярным среди советского эстаблишмента, посыпались заказы. Самым большим проектом, осуществленным Неизвестным, был рельеф для здания Научно-исследовательского института электроники в Зеленограде. Размер рельефа — 970 кв. м. Последней же его работой в Союзе был рельефный фронтон на здании ЦК Туркменской Компартии в Ашхабаде.

Конфликт с Хрущевым тоже уладился. После смерти Хрущева оказалось, что в завещании он просит, чтобы памятник на его могиле сделал Неизвестный. И Неизвестный исполнил последнюю волю...

Одним из самых интересных переживаний скульптора была его поездка в Египет в 1968 году. Дело в том, что в конце 60-х годов был объявлен анонимный конкурс на проект памятника для Ассуанской плотины, и Неизвестный выиграл его.

Об этой поездке он рассказывает с видимым удовольствием. Когда он прилетел в Каир, то зарегистрировался в аэропорту как еврей, несмотря на инструкцию записаться "советским гражданином". Египетские интеллектуалы выказывали ему знаки симпатии и сочувствия. Один из египетских коллег-скульпторов даже подарил ему образец интеллектуального самиздата — перевод "Бабьего Яра" Евтушенко на арабский язык. Египетские диссиденты рассказали Неизвестному, что они не имеют ничего против Израиля как такового, но существование этого государства служит Насеру предлогом для подавления демократических свобод внутри страны.

Памятник для Ассуанской плотины должен был иметь форму 86-метрового лотоса с многочисленными рельефами. Монумент был сооружен, но без рельефов, так как советские власти не разрешили Неизвестному остаться надолго в Египте.

Ни слава, ни деньги не удержали Эрнста Неизвестного в Москве. Его многочисленные проекты, а в особенности "Древо жизни" не могли быть осуществлены там. Сейчас Неизвестный живет в Нью-Йорке.

Неизвестный считает, что основой искусства является метафизика. Скульптура — это язык для выражения глубинных проблем бытия. Пришло время для искусства синтеза. Искусство, начиная с эпохи Ренессанса, начало терять свой литургический синтетический характер. До этого оно было сосредоточено вокруг Храма, являвшего собой модель Вселенной. Но потом искусство начало распадаться на составные части, словно книга, разъятая на предложения и буквы.

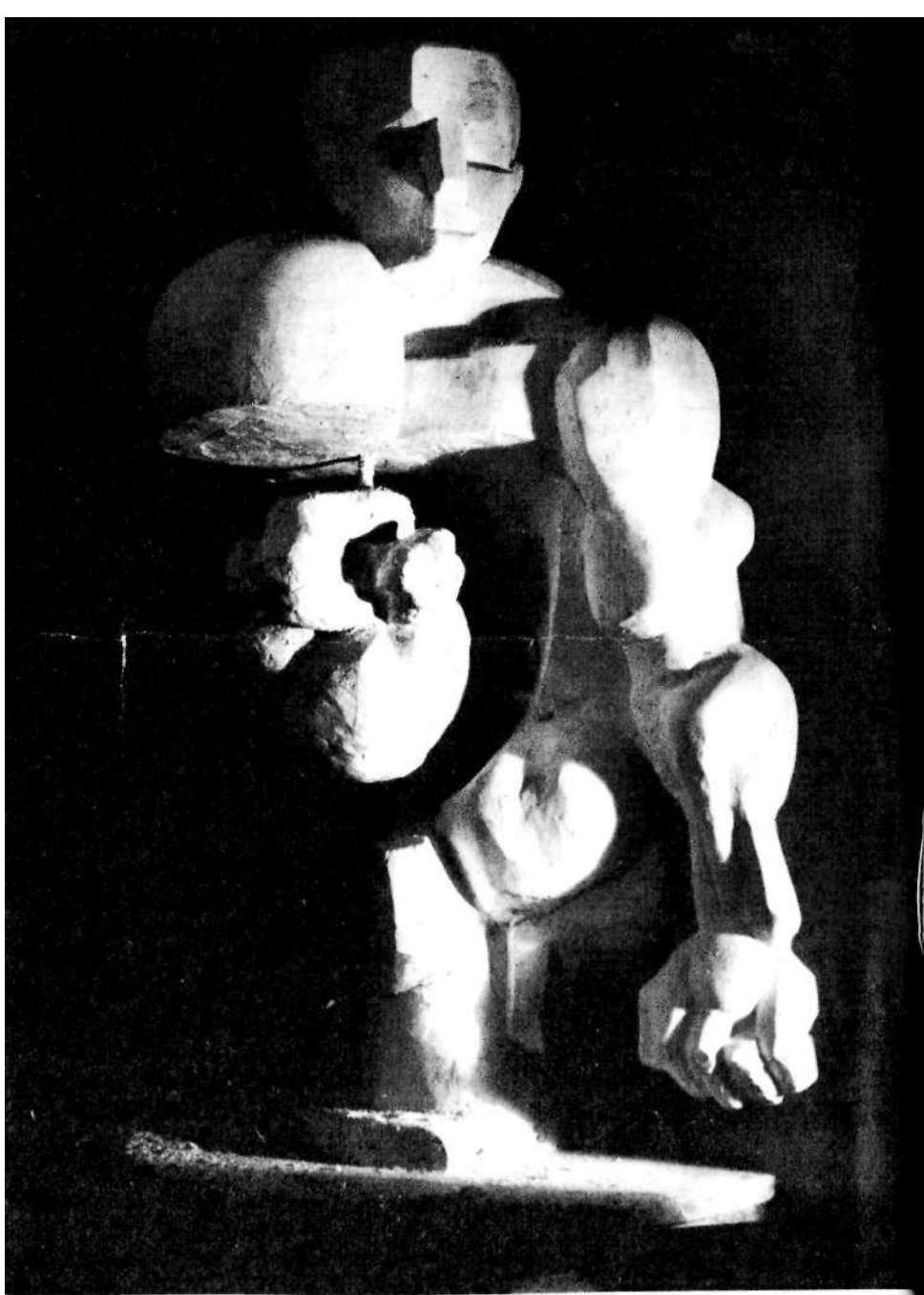
"Древо жизни" — это попытка скульптора найти модель нового синтеза. Структурной базой нового искусства является архитектура, пронизанная мистицизмом. Основное число в "Древе жизни" — семь. Гигантская конструкция имеет семь корней. Эти корни — семь смертных грехов. "Древо" опоясано семью лентами Мебиуса. Каждая лента имеет собственное библейское и метафизическое содержание. Жажда жизни — центральная идея проекта. Одно предложение из молитвы Девятого Аба повторяется несколько раз на разных языках. Каждая буква этой молитвы образует ворота в смысл, сосредоточенный в центре скульптуры. Размер букв действительно позволяет человеку войти внутрь.

Неизвестный уже закончил все технические приготовления и сделал 850 фрагментов "Древа". Остается найти финансовую поддержку для его реализации...

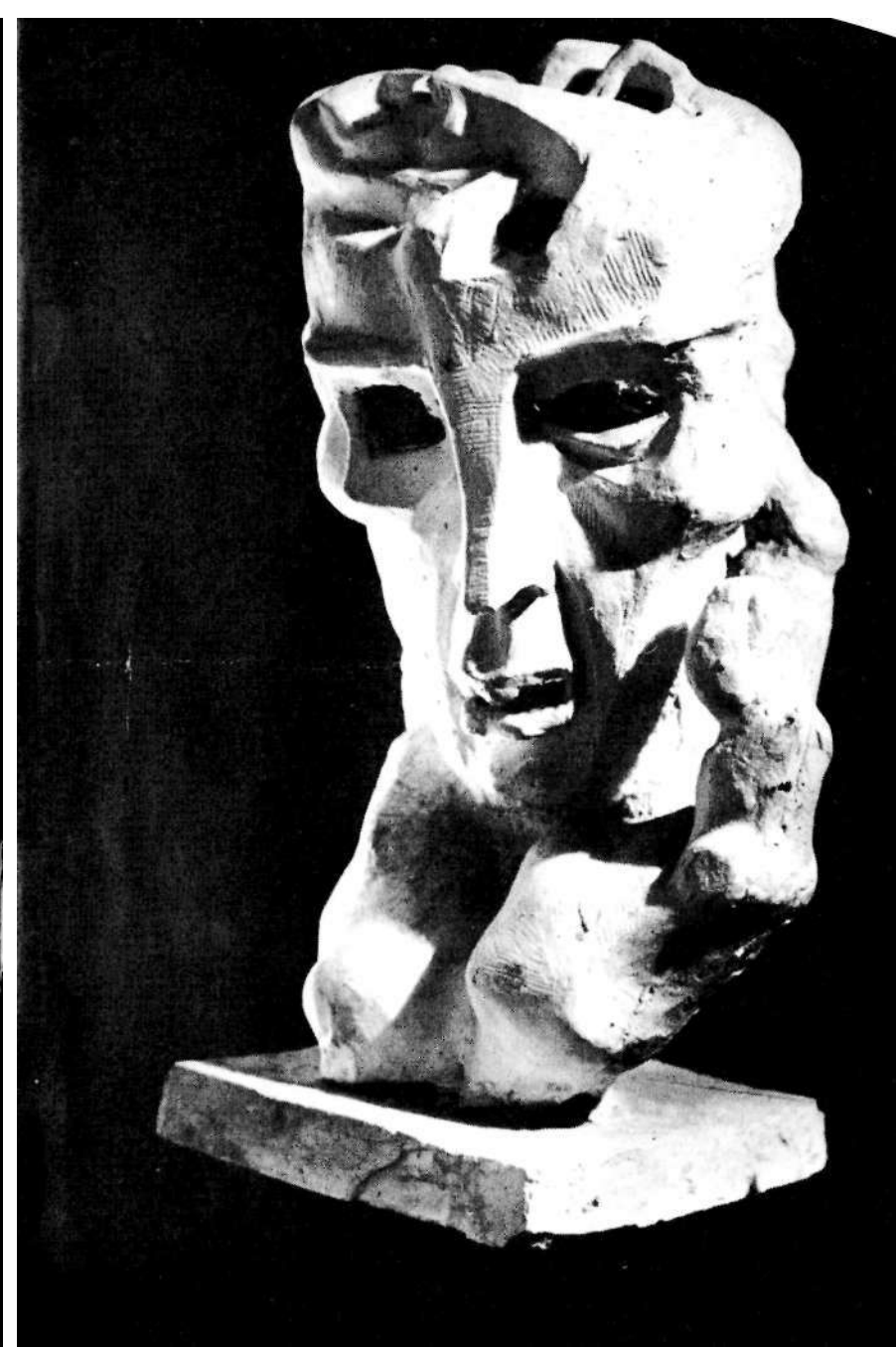
Недавно скульптор создал проект монумента братьям Кеннеди. Этот огромный экспрессивный монумент должен быть сооружен на мосту.

Неизвестный работает и в менее монументальных жанрах. В его мастерской стоит, например, вертикальная композиция "Семь тотемов". Человек (тоже тотем) стоит, окруженный тотемами: Пигмалионом, Адамом, Нарциссом, Онаном, Лотом, Гермафродитом.

Галина Келлерман



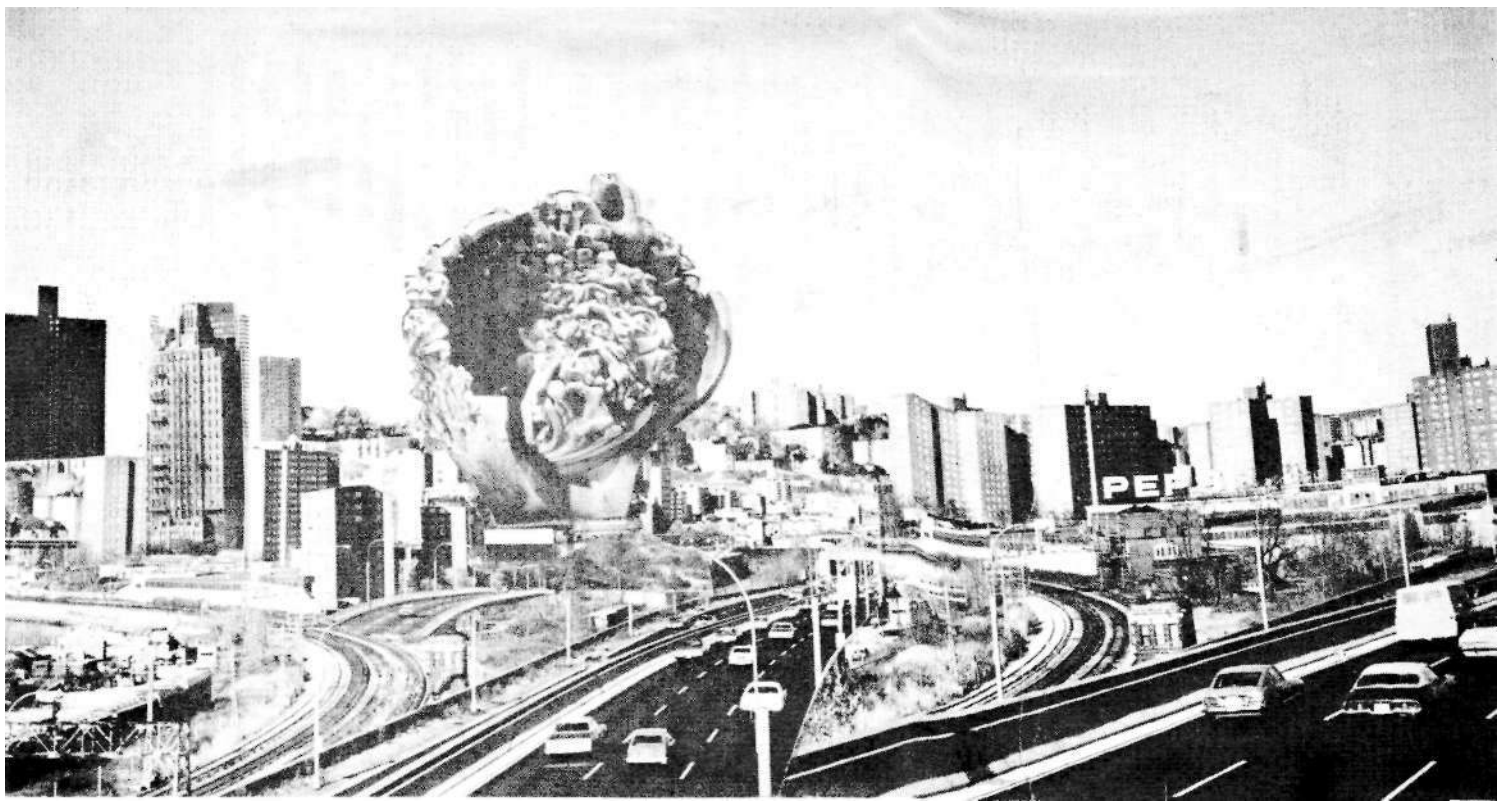
Пророк (проект монумента воинам Израиля)



"Маски и руки" фрагмент из "Древа жизни"



Скульптурный портрет композитора Шостаковича



"Древо жизни" (проект) фотоколлаж

СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ, ИЛИ КТО ВИНОВАТ...

Взгляд извне

Уважаемая редакция!

Все чаще до нас в Москве доходят слухи, что в иммиграционной политике Израиля предполагаются какие-то изменения: то ли ограничения на высылку вызовов в СССР не-евреям или "спорным" евреям, то ли ограничения помощи советским эмигрантам, не едущим в Израиль, то ли вообще прямое затаскивание эмигрантов из Вены прямо на Историческую родину — в тех или иных формах.

Я не знаю, чему в точности соответствуют подобные слухи; с одной стороны, дыма без огня не бывает, с другой — молва склонна преувеличивать всегда именно неприятные стороны событий. Однако, в связи с тем, что заботит меня здесь, точность информации об истинном положении дел в некотором смысле не так уж и существенна. Я хочу сказать несколько слов о проблеме "Израиль и эмиграция из СССР" на чисто принципиальном уровне, полностью отвлекаясь от реальной политики израильских властей, официальных и полуофициальных организаций, международных, американских и израильских обществ помощи евреям и т.п.

В СССР, где непрерывно и последовательно нарушаются все мыслимые права человека и гражданина, вопрос о возможности эмиграции всегда стоял и стоит сейчас очень остро. (Бегство за границу или невозвращение из-за границы квалифицируются в качестве "особо опасных государственных преступлений" в кодексах всех союзных республик СССР.) Без какой бы то ни было эмиграции Советский Союз — это концлагерь с пожизненным заключением без надежды на амнистию; любая эмиграция, пусть самая урезанная, открывает в стене концлагеря крохотную калитку.

За последние полвека единственная достаточно массовая эмиграция из СССР — это выезд евреев (начавшийся примерно 10 лет назад), который стал возможен только благодаря существованию Израиля. Этот факт, а также огромное количество усилий, затрачиваемых Израилем, общественными европейскими организациями на материально-техническое обеспечение выезда из СССР, никогда и никем не будет забыт; всякий честный человек в СССР — неоплатный должник Израиля, и вот почему.

Роль эмиграционной брешки, пробитой в железном занавесе благодаря Израилю, заключается далеко не только в том, что воссоединяются семьи, разорванные войной и государственными границами, и не только в том, что советские евреи, чувствующие себя евреями, обретают, наконец, реальную возможность жить в своей стране и среди своих собратьев. Морально-гуманистическую ценность названного фактора переоценить невозможно; об этом, однако, и так много пишется и говорится — я же хотел бы здесь сосредоточиться на другом, как будто менее четко выделяемом аспекте эмиграции из СССР по израильским вызовам.

Дело в следующем. В стране чисто тюремного режима, угрожающей существованию человечества и представляющей сейчас едва ли не самое аморальное общество в мире, которое заражает гангреной совести все новые и новые народы, принципиальная возможность выезда обеспечивает тыл тем немногим людям, которые готовы противопоставить себя бездушной тирании КПСС и отстаивают права человека в СССР. Отсутствие "запасного выхода" самым губительным образом

сказалось бы на нынешнем демократическом движении. Его ведущие фигуры — герои-подвижники — оказались бы в изоляции: человек, не выкованный из чистой стали (а ведь подавляющее большинство людей отнюдь не выкованы из чистой стали), сколь бы порядочен он ни был, не способен, по-видимому, на борьбу и протест, если его дело полностью бесперспективно, а его собственное положение абсолютно безвыходно. Именно эмиграция обеспечила и продолжает обеспечивать тот нынешний подъем — моральный и политический, который наблюдается хотя бы в очень узких слоях советского общества.

Так вот и получилось, что крохотный Израиль волею судеб стал одним из решающих факторов в деле возрождения морального самосознания населения колоссальной страны, а тем самым — в процессе борьбы за демократические свободы и права человека во всем мире.

А если так, то сама мысль о каком бы то ни было ограничении эмиграции из СССР (со стороны Израиля) представляется попросту страшной. Я не могу и не собираюсь давать советы израильскому руководству: оно должно, разумеется, в полной мере учитывать интересы своей собственной страны и ему, наверно, видней, как это делать. Тем не менее, я не могу не подчеркнуть, что усилия Израиля в деле обеспечения эмиграции из СССР — кого бы то ни было и куда бы то ни было — настолько важны для существования Человечества в целом, что эта сторона дела имеет, по-видимому, совершенно особое значение. Израиль, столько раз уже демонстрировавший миру свой высокий нравственный потенциал, с честью выходявший из трудных моральных испытаний — в том числе испытаний победой, не должен ни на йоту уступить и здесь. Евреи и неевреи, мечтающие жить в России, в Израиле, в США, мы, советские граждане — противники КПСС, напоминаем вам, как нашим братьям, друзьям и коллегам: спасать надо всех противников КПСС, не интересуясь ни чем относительно спасаемого. Помимо моральной чистоты, израильтяне заинтересованы в эмигрантах из СССР еще и чисто прагматически: каждый человек, уехавший из СССР не в Израиль, становится в принципе его горя-

чим сторонником и защитником, а широкая поддержка мировой общественности Израилю нужна не менее, чем новые тысячи эмигрантов. Поэтому необходимо как можно скорее, пользуясь средствами массовой информации свободных стран, пресечь расходящиеся слухи и широко заявить о том, что Израиль и впредь будет оказывать максимальную помощь тем, кто хочет спастись из СССР. Помогая нам сейчас, вы, возможно, спасаете и свое будущее!

*Лингвист, бывший старший научный сотрудник
Института Языкознания СССР, уволенный по
политическим мотивам*

Москва, январь 1977 г. Игорь А. Мельчук

Публикуемое письмо было послано в Израиль из Москвы, однако, не дошло до адресата. И поэтому второй раз автор послал его, уже будучи в Париже.

...ВИНОВАТЫ САМИ ЕВРЕИ

Комментарий изнутри

Начнем с того, что слухи об изменениях в иммиграционной политике Израиля не являются только слухами, хотя письмо г-на Мельчука при всей его искренности и темпераменте лично у меня вызывает двойственное ощущение. Пусть извинит меня автор, но ход его рассуждений напомнил мне одно колхозное собрание, участники которого пока толпились в предбаннике, крыли матом Брежнева, а когда под звон пробки от графина расселись по местам, — заявили, что живот положат за решения партии и правительства.

У автора письма, конечно, не все так, но по части пристрастия к крайностям — нечто очень похожее. Вот тот же Израиль. С одной стороны, бесстыдно затаскивает иммигрантов прямо из Вены на "историческую Родину" (по рецептам советского КГБ), а с другой — этот же Израиль стал одним из решающих факторов в борьбе за демократические свободы во всем мире (ни дать ни взять светоч человечества!). Ну, а если светоч, то как это совместить с прекращением помощи иммигрантам, не едущим в Израиль?

Словом, здравому смыслу тут никак не продрасть к истине. И не только сквозь переполненное эмоциями письмо г-на Мельчука — ему за отсутствием информации многое прощительно, но нам, нам-то как понять, отчего Сохнут и государственные органы Израиля, оказавшись в плену у неких злокозненных сил, выступают против помощи всем иммигрантам.

Оставим неевреев. Но теперь и евреи, еще находящиеся в СССР, прежде чем получить вызов, проходят сегрегацию в Сохнуте на предмет определения их истинных намерений и, даже, как-то неловко говорить... чистоты их еврейской крови. "Подозрительным" отныне вызовов не посылают.

Сама возможность возникновения такой ситуации г-ну Мельчуку представляется страшной — запрут навеки "спорных" евреев и вообще честных людей в советском концентрационном лагере! Успокойм автора письма и всех тех, кто исполнен подобного страха. Конечно, Сохнут — организация могущественнейшая, обладающая миллиардными средствами, а все же по части еврейской сегрегации — не такая уж безжалостная, а главное — не такая уж искусная. Поэтому процедура оформления вызова, при котором какому-нибудь Михаилу Вениаминовичу Кроннику такой вызов оформляется беспрепятственно, аazole его кузена Михаила Андреевича возникает заковыка, в моих глазах носит скорее характер трагикомический. Хотя бы потому, что в условиях все более крепнущего в СССР братства народов многие советские евреи закомуфлировали свое еврейство с таким искусством, что сохнутовским чиновникам просто не по зубам выудить из их среды стопроцентных "арийцев".

По всему этому меня куда больше занимает тот не свойственный сохнутовским чиновникам темперамент, то ни с чем не сравнимое тщание, с которым они отдаются исполнению этой "новаторской" для них функции.

Ушли времена, когда вызов можно было оформить за 15—20 минут. Теперь вы словно оказываетесь в следственной камере: сколько лет и откуда знакомы с вызываемым. И отчего у него "гойское" отчество Андреевич. Напрасно вы тщитесь выпутаться (вообще-то он не Андреевич, а Абрамович...) — ничто вам не поможет — знаем этих Абрамовичей, все в Риме сидят! Пускай высылает метрику из Москвы. Вот ведь как теперь интересно оформляются вызовы в Израиль.

И не думайте, что все это местный произвол, так сказать, чиновничья самостоятельность. Вновь образованный "департамент сегрегации" руководствуется указаниями свыше (правда, негласными — кто же осмелится предписать: слать вызовы только стопроцентным евреям. Даже в стране, откуда они выезжают, даже в черносотенных первых отделах и там до этого не дошли: принимать в институты только "стопроцентных" русских). Но нет тут никакого произвола, никакой самостоятельности, а есть тщательно обкатанная в канцеляриях и обдуманная на случай упреков идеология: "Мы-де страна маленькая, еврейская,

собираем потихоньку наших братьев и селим их потихоньку в Эрец-Исраеле... А что ж получится, если начнем слать вызовы каждому? Что подумает про нас советское правительство?" Вот какая славная идеология! Я оставляю в стороне ее нравственный аспект, о чем справедливо пишет г-н Мельчук. Я оставляю в стороне и то, что про нас подумает советское правительство — на этот счет советуЮ обратиться к газете "Правда" — там все есть: и что оно думало, и что думает, и что, по-видимому, не перестает думать, при всем уважении к его "кристально чистым" намерениям со стороны чиновников Сохнута.

Интерес вызывает даже не столько суть изложенной выше идеологии, сколько ее генезис, причины и дата возникновения. Эту дату никак не соотнесешь, например, с 1973 годом, когда в Израиль приехало более 33 тысяч евреев. Г-жа Голда Меир встретила их тогда в Луде и плакала, растрогавшись от масштабов этого переселения. Газеты писали о "Чуде XX века". И никого тогда не занимало, сколько из этих 33 тысяч привезло с собой отчество Андреевич, а сколько Пинхасович или Срулевич. В Израиль ехали все. А на тех, кто сворачивал в Риме, показывали пальцем. Но вот из года в год число прибывающих начало падать. От десятков тысяч к тысячам, от тысяч к сотням, от сотен к единицам. И в Вене уже пальцем показывают не на свернувших в Рим, а на эти самые "единицы", на "чудаков", на "ненормальных", которые продолжают ехать в Израиль. Такую вот метафорозу пережило "Чудо XX века".

Разумеется, случившееся нуждалось в объяснении, и оно не замедлило последовать. Точнее, последовало не одно, но интересно главное: оказывается большинство советских евреев — вовсе и не евреи, поскольку не получили еврейского воспитания. Не евреи они, поэтому и не едут в Израиль, и помогать им никто не обязан.

Вот и замкнулся круг, вот и понято стало, отчего ключом забила жизнь в некоторых отделах Сохнута, на улице Каплан, 17. Правда, в этой стройной логической цепи есть и недостающие звенья. Ну, как все-таки объяснить, почему в начале семидесятых годов из СССР в Израиль прибыло свыше ста тысяч человек, или то были сплошь идишты и знатоки Танаха? Или их не преследовало КГБ? Или поугит советский антисемитизм? Нелепо, не сходятся концы с концами. И останется загадкой, почему изошло "Чудо XX века", пока не обернете вы взгляд к самому Израилю, к его правительству, и Сохнуту, к их политике в области иммиграции и абсорбции. Писалось об этом столько, что вроде уж неприлично в сотый, тысячный, может быть, стотысячный раз твердить одно и то же. Но есть одна очаровательная особенность у этой истории — истории гибели еврейской иммиграции из СССР. Никто на государственном уровне и по сей день не сделал сколь-нибудь серьезных выводов: те же методы, те же нравы, тот же подход, разве только вот идеология новая: не кто-нибудь, а сами евреи из СССР во всем и виноваты. Неприятно сознавать, что не там, в России (о чем еще недавно так любили говорить), а здесь, в Израиле, похоро-

нили алию. Если это так, то есть, стало быть, и гробокопатели, и чего доброго станет вопрос об их ответственности, и еще создадут некое подобие комиссии Аграната.

Вот вам и альтернатива: или отвечать перед страной и обществом, перед мировым общественным мнением, или начать плодотворную кампанию по выявлению "чистых" и "нечистых", наподобие той, что бьет ключом в эти дни в Сохнуте. В первом случае требуется и мужество, и ум и способность к далеко идущим выводам. А что требуется во втором? Право, я затрудняюсь сказать. Может быть, на этот вопрос лучше ответят те, кто с таким тщанием выполняют благородную историческую задачу по выявлению, на сколько процентов Михаил Вениаминович Кроник является большим евреем, чем его кузен Кроник Михаил Андреевич, и заслуживает ли последний быть вызванным в Израиль?

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

"ИЗМЕНЧИВОСТЬ"

(стихи поэтов Англии и Америки в переводах
Георгия БЕНА)

Книга вышла в издательстве "Время и мы". В ней вы сможете прочесть стихи многих широко известных и малоизвестных поэтов Англии и Америки с XVI века до наших дней: Байрона, Шелли, Китса, Киплинга, Суинберна, Томаса Гарди, Джона Мейсфилда, Эдгара По, Ральфа Уолдо Эмерсона, Вэчела Линдсея, Ленгстона Хьюза, Огдена Нэша и многих других.

Стоимость книги в Израиле: при заказе по почте — 17 лир, в магазине — 22 лиры. Стоимость за границей — 2 доллара.

Заказы принимаются по адресу:

Издательство "Время и мы", ул.Нахмани, 62/9, Тель-Авив, Израиль

или

Г. Бен, ул. Эйлат, 56/47, Холон, Израиль.

К заказу должен быть приложен чек и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЗИНОВИЙ ЗИНИК (ГЛУЗБЕРГ).

См. журнал № 22.

НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ — родилась в 1936 году в Москве. Окончила филологический факультет Ленинградского университета. Работала библиографом, переводчиком, редактором. Участница демонстрации 25 августа 1968 г. на Красной площади против вторжения в Чехословакию. Автор книги о демонстрации "Полдень" ("Посев", 1970). Основатель "Хроники текущих событий". На Западе стихи Горбаневской публиковались по-русски (основные сборники: "Побережье", Анн Арбор, 1972; "Три тетради стихотворений", Бремен, 1975), по-английски и по-немецки. В Советском Союзе напечатано несколько стихотворений и поэтических переводов. С декабря 1969 г. по февраль 1972 г. находилась в заключении (Бутырская тюрьма. Казанская специальная психиатрическая больница). В декабре 1975 г. выехала на Запад и сейчас живет в Париже.

АРТУР КЕСТЛЕР — писатель. Родился в 1905 году в Будапеште. В двадцатые годы эмигрировал из хортистской Венгрии и в качестве корреспондента ряда западных газет побывал во многих странах. Участвовал в гражданской войне в Испании. С конца тридцатых годов навсегда поселился в Англии. Кестлеру принадлежат книги "Испанское завещание", "Подонки общества", "Ночные воры", "Девушки по вызову" и другие. Он автор ряда широко известных работ по социологии, психологии и антропологии. Всемирную известность писателю принес роман "Тьма в полдень", переведенный на многие языки мира. В журнале "Время и мы" он впервые был опубликован на русском языке. Был также переведен ряд статей писателя.

БОРИС СУВАРИН. См. журнал № 22.

No other airline
can make
this statement.



"ВРЕМЯ и МЫ" — 1978 год

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ В ИЗРАИЛЕ:

Сроком на 6 месяцев — 210 лир

на 12 месяцев — 384 лиры

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЗА РУБЕЖОМ.

В США И КАНАДЕ

сроком на 6 месяцев - \$ 19.60 (авиапочта — 37.50)

на 12 месяцев - 39.20 (авиапочта - 75.00)

Цена номера в открытой продаже — \$ 4.5

ВО ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев — F.FR. 92 (авиапочта — 155)

на 12 месяцев — 184 (авиапочта - 310)

Цена номера в открытой продаже — F.FR. — 23

В ГЕРМАНИИ

сроком на 6 месяцев - DM 46 (авиапочта — 88)

на 12 месяцев — 92 (авиапочта — 176)

Цена номера в открытой продаже — DM — 11

бланк для ПОДПИСКИ на 1978 год на обороте

"ВРЕМЯ и МЫ" — 1978 год.

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1978 ГОД

**Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев**

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" —
можно по русски — и высылается по адресу:

P.O.B. 24123, Tel-Aviv или **62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1978 ГОД

Авиапочтой **сроком на 6 месяцев**
Обыкновенной почтой **на 12 месяцев**

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — мож-
но по-русски — и Е)ысылается по адресу: **P.O.B. 24123,**

Tel-Aviv, Israel или **62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**



**СДЕЛАЙ СВОИМ ПРАВИЛОМ:
ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ ТОЛЬКО В МАГАЗИНАХ**

"СУПЕР-СОЛЬ"

*КОНДИЦИОНЕР, БОГАТЫЙ ВЫБОР, САМЫЕ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!*

НЕ ТЕРЯЙ ВРЕМЯ НА БЕГОТНЮ

*В ТВОЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ
МОЛОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ, ФРУКТЫ,
ОВОЩИ, РАЗЛИЧНЫЕ НАПИТКИ И КОНСЕРВЫ,
МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО
ОБИХОДА.*

ВСЕ СВЕЖЕЕ И ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

ПРИЯТНО, ПРОСТО, ДЕШЕВО И ЛЕГКО
покупать в магазинах "СУПЕР—СОЛЬ"

Мы всегда к вашим услугам.

Добро пожаловать!



Зав. редакцией Марина Голубева

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9
п. я. 24123, Тель-Авив. Тел. 621085.
62/9 Nachmani St. T.-A. Tel. 621085.

Типография "Дерби". Улица Микцоа, 9. Т.—А.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, февраль 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой странице обложки фотокеллаж Эрнста Неизвестного "Проект монумента братьям Кеннеди".

